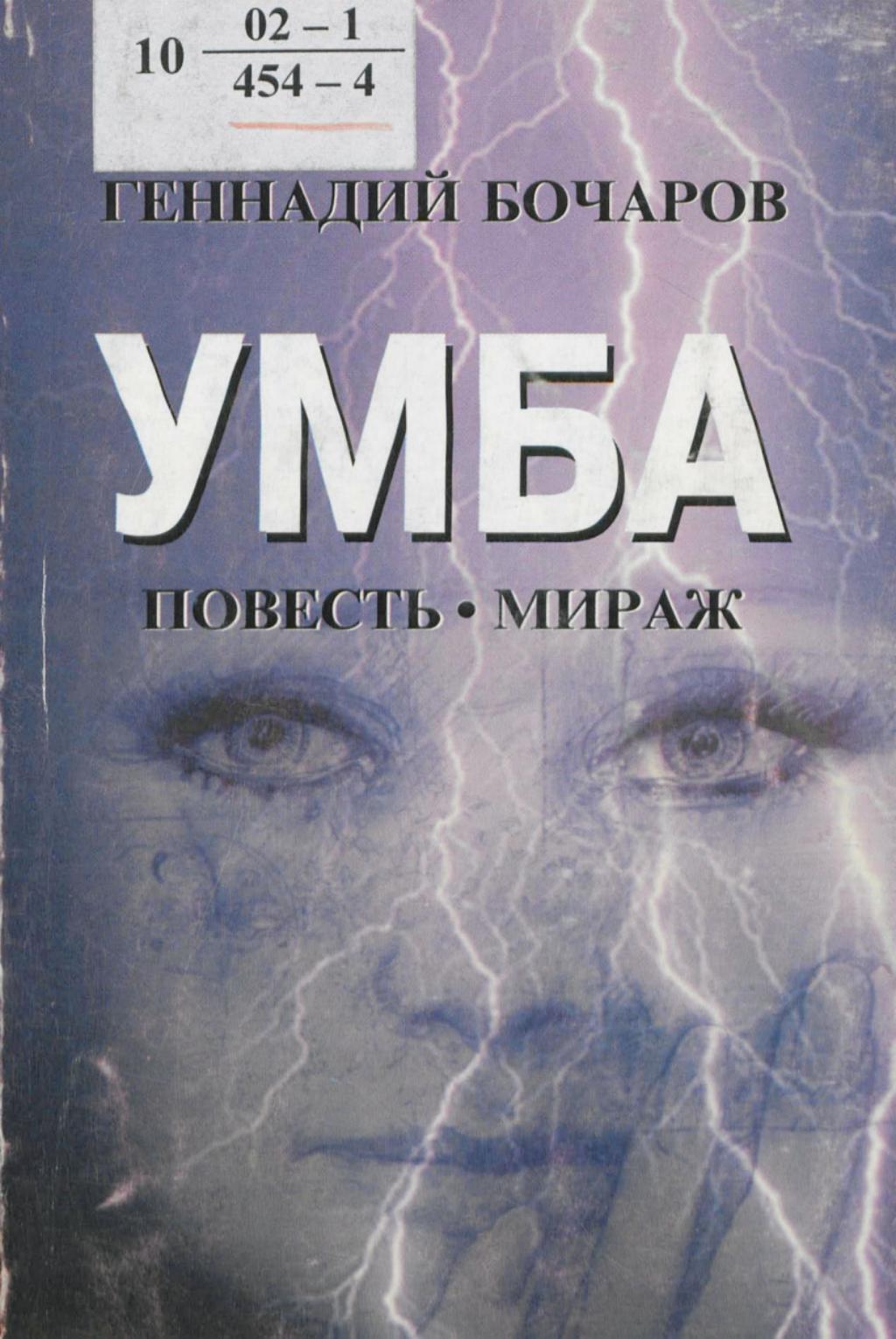


10 $\frac{02-1}{454-4}$

ГЕННАДИЙ БОЧАРОВ

УМБА

ПОВЕСТЬ • МИРАЖ





2007116188

10 $\frac{02-1}{454-4}$ БОЧАРОВ

УМБА ЖИВРН

ПОВЕСТЬ – МИРАЖ

*Памяти сиятельныйого
двадцатилетия 1965—1985 гг.*

«ЕВРАЗИЯ +»

МОСКВА
2002

98-2

ББК 84
Б 84

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
2002

Место действия повести Геннадия Бочарова
«Умба» — некогда знаменитый Дом творчества
«Литературной газеты» на берегу Черного моря в
Абхазском поселке Гульрипши.

Время действия повести — финишная прямая
эпохи так называемого застоя.
Основные персонажи «Умбы» — журналисты
«Литературной газеты». Газеты, вне всякого
сомнения, наиболее популярной в недавнее
советское время. В повести герои спорят,
влюблются, спиваются, убивают время и силы —
ведут себя так, как и обычные люди. Люди на
отдыхе. Однако в отличие от обычных людей,
газетчики, как известно, в силу своего ремесла, в
наибольшей степени, отождествляют своим
поведением и образом мыслей не только саму
жизнь, но и наиболее шумную и подвижную часть
общества, которую в России давно и упорно
называют необоснованно-вместительным
словом — интеллигенция.
Об этой иллюзии и об этом заблуждении — и
речь в повести. И от этого ее нескрываемая
горечь.

Геннадий Бочаров
УМБА. Повесть. — М.: «Евразия +», 2002. — 144 с.

ISBN 5-93494-049-X

Б 4700000000-021
56(М)03-2002

© Геннадий Бочаров, 2002
© «Евразия +», оформление С. Богачева, 2002

УМБА — ЗНАК ПРОРОЧЕСТВА

Когда камешкий дом содрогался от близких разрывов ракетных снарядов, он ложился на узкую эсесткую кровать и, приготовившись к смерти, вызывал в своем воображении эсениции. Он никогда не рассматривал их лиц — красивые лица его смешили, а некрасивых он не вызывал.

Он знал: в его распоряжении осколки секунд, дарованные таймером пусковой ракетной установки в чужих, паскудных горах. Вытянувшись в струну, точно в гробу, он складывал неподвижные руки на груди и говорил той, которую вообразил у своей кровати первой: «Сбрось с себя это чертово платье». Она сбрасывала и забиралась к нему в постель. Он не терял ни одного мгновения и начинал ласкать ее бесплескую фигуру.

Взрывная волна вышибала стекла. Ракеты с отрогов Гиндукуша взрывались узле

у самых стен. Тогда он напрягал свое воображение и призывал вторую призрачную подругу — лучшую в своем бесстыдстве и умении. А позже, когда яростные языки пламени пожирали распадающуюся штукатурку и наступал судный час, он звал третью, вероломную и неискреннюю, вроде той, что сама искала его в темном грохочущем небе над плоскими крышами пыльного ада, срылом свиньи и крыльями филипа. В этом хаосе он уже ничего не жал — ни подлыхих, ни воображаемых женщины. Он лишь вспоминал свое детство — тот единственный миг своей собственной жизни, когда ему еще ничего, кроме будущего, не угрожало.

Обстрел заканчивался.

Он зажигал тусклый свет, поднимался с постели и вытивал стакан водки. Водка, подобно всевластному султану, распускала его воображаемый гарем.

До следующей ночи.

До следующего обстрела.

По утрам никто из них не рассказывал друг другу о том, что с ними было ночью.



ГЛАВА

Хочешь быть первым — будь злым. Проснувшись злым, он, однако, не стал первым: пляж захватили добрые.

Он миновал раздевалку и подошел к тельферу. Морские волны тихо плескались о ржавые рейки. Помешанные на утреннем плавании обитатели Дома творчества «Литературной газеты» в Гульрипши снимали с креплений две цельнометаллические лодки. Кто-то устанавливал тяжелые деревянные лежаки. «Нигде не останешься один, — подумал он. — Как в армии».

Он шагнул к навесу. Под навесом сидела девушка — вчерашняя новая знакомая. Выходит, и она опередила его.

«Черт бы вас всех побрал», — подумал он с досадой. Хотя девушка, кажется, не была частью общего пляжного братства. Как и вчера, она оставалась сама по

себе. Она отдыхала в Доме творчества «ЛГ» в первый раз. Он — не раз. Она пришла в газету, которой принадлежал Дом, недавно — после журфака. Он — давным-давно. В то время, когда она пришла, он колесил взрывную землю Афгана. Девушка была литературным сотрудником. Он — специальным корреспондентом. Ее имени еще не знал никто. Его имя знали многие. Он был известным, солидным журналистом. По внешнему виду этого, однако, нельзя было даже предположить.

Но подобные вещи его не заботили.

Девушка была славной, выглядела невыносимо молодо и целомудренно. Возможно, именно это и остановило его в первые минуты их знакомства от привычки атаковать без раздумий и ухищрений. Как когда-то, когда и он еще был молодым. Но теперь он бы делал это со знанием дела. С учетом всего мирового опыта, который обрел в эрогенных зонах планеты — Бангкоке, Амстердаме, Гаване или Париже.

Девушка бросила на него вполне безучастный взгляд и, изогнувшись подобно лозе, поудобней устроилась на прохладном песке под навесом. «Вот так-то

лучше, — мелькнуло у него. — А можно еще и так. И так, и эдак».

«Грязнее дерьма может быть только мысль».

Он механически направился в сторону навеса: продолжить знакомство. Но сделав несколько шагов, все же передумал: вдвоем интересно, а одному — хорошо. Кроме того, его вдруг коснулось вчерашнее ощущение: ни облик, ни манеры девушки, ничто не походило на то, к чему он привык, что его окружало в последнее время. Чем он жил в своих бесконечных скитаниях по миру, особенно по его азиатским помойкам, не говоря уже о смертельных кабульских ночных Ночках, населенных воображаемыми шлюхами, которые, как ни странно, спасали его оттого, чтобы не спятить окончательно.

Он сбросил халат и вошел в море.

Плыть по чистой, прозрачной воде было легко и приятно. Хорошие минуты, подумал он. Никаких дел. Никаких бед. Пятый день отпуска. Быть одному. Быть одному. Быть одному. В море — один. В номере — один. В баре — один. Нагрузился — ушел.

Он сгруппировался и поплыл кролем.

Один.

«Одиночество — праздник усталых».

Над головой пролетела чайка. За ней — вторая. Птицы неба, вспомнил он слова девушки, оброненные ею вчера. На земле чайки неповоротливы, сказала она. Да, согласился, помнится, он. «Но мнето какое дело? — подумал он теперь. — Пусть эти крылатые лапти хоть всю жизнь проковыляют по земле. Мы не родня».

Доплыv до буйка, он повернул к берегу. Прямо перед его глазами, вдали, поднимались снежные вершины Большого Кавказа. На их склонах росли буковые леса. Леса нагревались после прохладной ночи, и над ними стояли высокие белые облака.

Вот это он любил, к сожалению, всегда. Даже нервничал: любить — значит зависеть. В последнее время подобная красота существовала в его сознании только для одного: дать почувствовать скротечность человеческой жизни.

Неизбежный момент, как видно.

Он перевернулся на спину. Солнце ударило в глаза. Люди тоже не лучше: чем красивее и талантливее был человек, оказавшийся рядом с ним, тем интереснее и прекрасней были и его собственные дни. Но что в результате? В результате имен-

но рядом с талантливыми и красивыми, в их незримом плену, молниеносно промелькнули его личные десятилетия. Время его единственной жизни. Ни одной остановки.

Не то, что с занудами.

Он снова поплыл кролем. Пляж, горы и облака над лесами оставались на прежних местах. На прежнем месте оставалась и девушка. Двигался только он. Все, навстречу чему бы он ни двигался, в конечном счете оставалось позади.

Как и у всех, кто куда-то плыл. Или летел.

«Даже у тех, кто торчит на месте, — подумал он. — Даже у них, бедолаг».

Он нашупал ногами дно.

В нескольких метрах от того места, где он выбрался на берег, возвышались тонкие бамбуковые шесты.

«Черт с ними».

Шесты были врыты в крупную гальку. От каждого уходила подрагивающая леска. Рядом с шестами лежал рыбак. Старый абхазец с седыми спутанными, как водоросли, волосами фыркал и что-то напевал. Его тяжелые руки омывала белая, легкая пена волн. Соленые брызги летели рыбаку в лицо.

Он прошел мимо, накинул халат и, приглушив ленивую внутреннюю борьбу, все же побрел к девушке.

«Откуда они берутся? На пляже, на палубе? В соседнем купе или в одном и том же самолете? Кто прокладывает их маршруты к чужим сердцам и к чужим судьбам? Кто тот неведомый, кто владеет тайным смыслом во вселенском хаосе и определяет, когда и кого свести, а кого развести? Кого столкнуть, а кому даровать одиночество?»

Девушка сидела в прежней позе.

— Привет, — сказал он и устроился рядом.

— Здравствуйте, — кивнула она и взъерошила короткие каштановые волосы. — Сегодня вы злой.

— Почти не спал, — сказал он.

— Плохо.

Но он сказал:

— Только что видел счастливого человека.

Девушка посмотрела в сторону рыбака.

— Да, — сказал он.

Девушка улыбнулась.

— Увидеть такого человека за семнадцать лет до конца нашего века я уже не рассчитывал.

— Вы правы. Это трудно.
«Тебе-то чем плохо, — подумал он. — Красивая, молодая, возможно, не без таланта. По крайней мере не похожа на других. Тоже талант».

— Что-нибудь написала? — спросил он, вспомнив о ее вчерашнем признании.

Девушка помедлила и протянула небольшой листок.

— Целых пять строк, — заметил он. — Мочиши корки!

— Не смейтесь, — сказала девушка.

— Я не смеюсь. Если бы смеялся, уже давно свинтил бы в бар. А я здесь.

— У вас жargon бандита, — тихо проговорила девушка. — Ничуть не похоже на то, как вы пишите.

— В устной речи я отдыхаю от письменной, — ответил он. И прочитал на листке:

*Яблоко съел и, отбросив папаму,
Море погладил рукой
Сел у воды и швырнул мокрый камень
Маленький
О большой.*

— Мило, — сказал он, возвращая листок. Словцо вызвало в нем легкое под-

ташнивание вроде того, что вызвало только входившее в моду московское салонное — «волнительно», но он повторил: мило. А потом добавил:

— Хорошие строчки.

Девушка смутилась. Он увидел, как она смутилась, и повторил:

— Хорошие.

— Правда? — спросила она.

— Я не влюблен, — сказал он. — Врать не обязательно. «Ни мудрости, ни стона», — подумал он. «Стихи как стихи. Возраст!»

— Спасибо, — проговорила девушка. — Приятно.

Вокруг был пестрый и красочный южный мир. Все было едино, но ничто не зависело друг от друга. Ничто не нуждалось в особых связях: разноцветная пустота детства. Или написанных девушкой строк. Или отпуска.

И он подумал: уйма пустоты.

Внезапно до них донеслись обрывки музыки. На горизонте появился прогулочный катер. Катер несся так, словно пассажиры опаздывали на дележ грядущих удач. Вокруг его белых бортов плясали солнечные зайчики.

— Что это? — напряженно спросила девушка.

— Катер, — удивленно ответил он. — И счастливые кретины.

— Я понимаю.

— А чего не понимаешь?

— Ничего, — ответила девушка. — Просто мне показалось, что я как будто здесь и как будто там.

— Здесь только я, — ухмыльнулся он.

Катер исчез. А море, в котором катер вдруг появился и так же внезапно исчез, слилось с небом. Солнечные лучи отражались от воды и плавились в собственном сиянии. Но серые глаза девушки сияли еще ярче. «Не ослепнуть бы от сплошного сияния», — с усмешкой подумал он.





— Я знаю, что я делаю, — твердо сказал он.

— А мне показалось — не знаете, — сказала девушка.

— Знаю, — зло повторил он.

«Века идут, а наши дела не меняются».

Он с силой провернул ключ:

— Входи.

Девушка ступила в темноту. Впрочем, темнота была не плотной. Свет рефлектора, установленного на торце тельфера, проникал в его комнату через балконную дверь. Одеяло на неприбранной кровати выглядело горой смятой фольги.

— Смелей, — подтолкнул он девушку. — Кроме тебя и диктора радио, здесь никого. «С каким бы намерением ты ни приблизился к женщине, — подумал он, — на уме у нее только одно. И не так уж она и не права».

— Смелей, — повторил он.
— Я не боюсь, — с вызовом сказала она.

«Услышала бы ты сейчас свой голос», — подумал он.

Они вошли, и она тут же шмыгнула на лоджию.

— Назад! — чуть ли не рявкнул он. — Всех перебудим!

— Включите свет.

— А рефлектор?

Она вернулась с лоджии. Нашла выключатель. Вспыхнул свет.

Он открыл холодильник. «Будешь?» — спросил он. Не дождавшись ответа, налил полный стакан «Псоу». Выпил. Налил второй. Она молчала. Он выпил второй. «А ведь я и в самом деле ничего не хотел, — подумал он с редкой для него обидой. — Только посидеть. Бывает же, черт побери, просто хочется посидеть с человеком. И не на улице, на лавке, а в комнате. И не с осточертившим приятелем, а с малознакомой, смазливой девицей».

Она присела на край единственного стула. Он посмотрел в ее глаза: тревога, кажется, прошла.

— Ну, что, — спросил он, — не боишься?

— Нет.

— Очень хорошо.

Он пересек комнату, подошел к умывальнику и вернулся с маленьким зеркальцем.

— На-ка, — сказал он, — посмотри.

Она поднесла зеркальце к своему лицу:

— Что я должна увидеть?

— Одухотворенное лицо, — сказал он. — Видишь?

— Нет, — тихо сказала она.

— Но в твоем лице — твое спасение, — проговорил он.

— В каком смысле? — спросила она и опустила руку с зеркальцем.

— С таким лицом тебя не тронут.

Ее изумление было неподдельным:

— Почему не тронут?

«Хочешь сказать — трогали и еще как», — чуть не схамил он, но повторил:

— С таким лицом тебя не тронут... Я не трону. И такие, как я, не тронут. Привыкли к другим.

— Правда? — спросила она еле слышно.

— Правда, — ответил он. — По-моему, правда. А теперь — иди.



ГЕННАДИЙ БОЧАРОВ



ГЛАВА

Дом творчества респектабельной «ЛГ» стоял на берегу моря — в пятидесяти метрах от воды. Здесь же, рядом с ДТ, как его называли между собой постояльцы, на влажной абхазской земле находились дачи московских писателей. Многие из их хозяев были знамениты — Евтушенко, Семенов, Симонов, Гулиа. За писательскими дачами тянулись дворы и дома местных жителей. Дома были с цинковыми крышами, во дворах зеленели табачные плантации. Вдоль заборов разгуливали ласковые, упитанные собаки. По берегу моря бродили поджарые, злые свиньи. На их щетинистых холках поскрипывали квадратные деревянные «рогатины».

Когда-то в Доме творчества отдыхали и писали свои знаменитые очерки только сотрудники газеты, которой он принадлежал. Со временем контингент

отдыхающих изменился. Стук пишущих машинок поутих. Ближе к середине восьмидесятых годов в ДТ уже вполне привычно чувствовали себя журналисты ТАСС, АПН и даже Всесоюзного радио. Появились также ученые, врачи, директора московских ресторанов и чиновники некоторых центральных министерств. Часть мест в ДТ бронировал Сухумский обком партии, на чьей территории Дом находился. Никого уже не удивлял приезд одной—двух арбатских проституток. Им доставались самые дефицитные путевки, позволявшие селиться в угловых полулюксах. Таким образом, в Доме творчества отдыхали раскрепощенные и по большей части приятные люди. Некоторые из них были более творческими в своем деле, чем творческие — в своем. Но ладили все. Творчество — вещь внешне не совсем приличная. Те, кто был по-настоящему одарен — прикидывались простаками. А те, в ком от природы было все на нуле, кроме тщеславия, — хотя бы не корчили из себя гениев.

Все были равны.

Особую группу, правда, составляли собственные корреспонденты «ЛГ» за рубежом. Они съезжались в Гульрипши из

Парижа, Лондона, Бонна, других столиц мира. Держались они особняком. Их отличали манеры провинциальных трагиков и одновременно нездоровая, неусвоенная респектабельность.

В известном смысле Дом «ЛГ» был лучшим местом отдыха на всем абхазском побережье. Атмосфера войлочной скуки, которая царила в соседних домах отдыха и санаториях ЦК КПСС, КГБ СССР, Минобороны и других чопорных цитаделях, жестко изолированных от местной жизни, лишь оттеняла лихорадочную беззаботность ДТ, которая, в сущности, и составляла его главную привлекательность и шарм.



Д

ГЛАВА

— Вам письмо, — сказала дежурная по дому.

— Мне? — рассмеялся он от неожиданности.

Дежурная взвесила на ладони конверт, поднесла к его глазам: «Это вы?»

— По фамилии я, — сказал он. — Давайте.

Он подошел к лифту. Нажал кнопку. Разорвал конверт. «Привет, Сапог!» У него дрогнули руки. «Привет, Сапог!» — перечитал он.

Забыв о лифте, он бросился наверх по лестнице. В комнате он запер за собой дверь и повалился с письмом на кровать. Также резко вскочил, открыл холодильник, достал ополовиненную бутылку водки и, выпив вторую половину из керамической кружки, уткнулся в письмо.

«Привет, сапог! Два дня как в Москве — прилетел на гробах с орлами из

BBC. Обзвонился — ни души. Кобзон на гастролях в Красноярске. Тимур Гайдар — в запое: умерла мать. Ты — в Абхазии, в отпуске. Как тебе там, после нашего рая? Публика, небось, сплошь и рядом: что вы, что вы, будьте так любезны, а? Страдаю и я — каждый раз. Главное при таких перепадах — не свихнуться. Но ты — привычный. Новостей много, а хороших нет. После твоего отлета Кабул еще восемь раз накрывали ракетами. Две свалились поблизости. Стекла — вдребезги, а твоему любимому бассейну — презервативу хоть бы что.. Вот что значит — хорошая резина. Твой автомат (неучтенка) и одеяло на прежнем месте. Ждут. Мы туда не заходим. Не комната, а склеп.

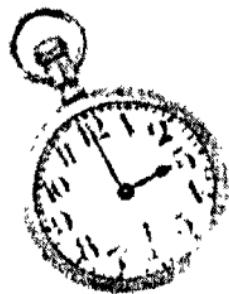
Прочитали твои репортажи. Нормально. Среди других — твои лучшие. Но и сам ты лучше своих репортажей. Но все понятно: дело имеем с одними и теми же ублюдками, что у нас, на TV, что у вас, в газетах. Всех уродуют, стригут под одну гребенку. Если придет время, лично я своими собственными руками задушу всех цензоров. Но начну с толстожопого. С их цэкашного главаря. Хотя времени у него, надо признать, еще немало. Стюард Лури из Си-эн-эн, с которым тебя чуть не сца-

пали у телеграфа, прорезался в эфир тоже. Я смотрел запись. Кроме гусениц наших БМП — ни хрена... Снова шуруют в Хосте и в Кандагаре. В Суруби, где нас с тобою накрыли эрэсами, все тоже в дыму.

Теперь, кажется, подготовил. Читай: Руслана зацепило — семь сантиметров печени, пуля — под лопатку, а вышла внизу, два литра крови и еще неизвестно что. Дотащили до Баграма, прооперировали. Что сказать? Перевидел я как будто много, но чтоб Русланчика — не допускал. И ты, чувствуешь, не допускаешь. Но это так. Хирург, что резал, успокаивает: 33 года, крепкий, в отличие от нас — не пил. Но ты храни Русланову кепочку, ту, что он тебе подарил в Суруби.

Как его подсекли? Бой был недалеко от Бала-Хисара. Духи подожгли колонну наливников — представляешь. Руслан отбивал колонну одним взводом: одним! Ему было за это вторую «Звезду», но майор, паскуда, нацарапал в штаб: был без бронежилета. Правильно, грубое нарушение Устава. Эх, встретимся, расскажу. К Руслану пустили на минуту. Перевезли из Баграма в Кабул. Смотрит осмысленно, о тебе вспомнили. Шея похудела, весь желтый, разрегулированный. Вышел

я из его палаты — своротил в коридоре тумбочку. Иду — ничего не вижу. А в коридоре госпиталя — одни наши салаги в бинтах. Мама родная, сшиб одного, как слепой, а он, тот парнишка, и сам оказался слепым: пол-лица нет. Ну, ты знаешь, как это. Жду тебя в Кабуле. Верю — оклемаешься и, как уже не раз, прилетеши. В Москве я еще четыре дня. Мои ощущения — никому мы не нужны. Вспомнят только тогда, когда понадобится свалить вину на кого-то за всю эту подлючью войну — ведь это мы, и особенно я — вру о ней постоянно по центральному ящику для миллионов. Ладно, понимаю, расстроил тебя с Русланом. Но сил молчать не было. Дел в Останкино полно. А ночью — хоть из окна. Твой Лещ (Сиплый)».



Б
ГЛАВА

— Где вы пропадали? — спросила девушка.

— Был занят, — ответил он. — А теперь свободен.

— А-а.

Девушка сидела в беседке, у входа в ДТ. Беседка была увита красными и желтыми цветами. Желтый цвет вызывал у него во время похмелья одни и те же галлюцинации: вереницу пустых гробов, плывущих по воздуху.

Он сел. Вензеля беседки сверкали свежей масляной краской. Тоже желтой. Рядом был декоративный пруд с инкрустированным дном. Над водой склонялись легкие ветки ивы.

«О, господи!».

Девушка потянулась за сигаретой.

«Курим?».

Он взял ее зажигалку, попытался зажечь. Пламя умирало, едва вспыхнув.

— Дайте-ка сюда, — весело сказала девушка.

Потерзав зажигалку, прикурила.

— Перевела пламя на час вперед.

— Молоток, — хрипло сказал он. И без паузы:

— Что-нибудь новенькое почитаешь?

— Нет, — угласла она.

— Почитай старенькое.

Он подождал, добавил: «Но учти, я не слишком большой знаток поэзии. По-настоящему я понимаю только один стих».

— Муха денежку нашла?

«Дура», — хотел сказать он, но воздержался. Прочитал без выражения, тихо:

Солдат! Учись свой труп носить,

Учись дышать в петле,

Учись свой кофе кипятить

На узком фитиле.

Учись не помнить жасенских глаз,

Учись не ждать небес.

Тогда ты встретишь смертный час,

*Как свой Бирнамский лес...**

— Это не стих, — сказала девушка.

— А что? — спросил он насмешливо.

* Борис Лалин. «Подвиг».

— Не знаю. Может быть, это чья-то философия.

«Моя в том числе, дружок».

— Приплыли, — сказал он. — Это стих.

— Не чувствую, — возразила девушка.

— Просто ты другой человек, — заметил он. — Только и всего.

— Вы тоже, насколько я понимаю, другой.

— Это насколько ты понимаешь, — усмехнулся он. — А насколько понимаю я, как раз тот. Читай свое.

— Вам не понравится.

— Читай.

Девушка глубоко вздохнула. Прочитала:

*Не рубите леса,
Не получится сена,
Чтобы лечь отдохнуть
От печальных забот.
И, коснувшись крапивы,
Хоть раз откровенно
Постарайтесь признаться —
А сильно ли жжет?*

— Странно, что ты думаешь о таких вещах, — сказал он после паузы. И добавил: — Я придумал тебе имя.

— Да? — вспыхнула девушка. — А я думала, у меня есть.

— Было. А теперь будет новое: Кит. Красивая и талантливая — Кит.

Неловкость была секундной: железную калитку открыл старый рыбак-абхазец.

— Ваш счастливый человек, — обрадовалась девушка.

Старик широко улыбнулся и приветствовал их взмахом короткой, могучей руки. Не задержавшись у беседки, он прошел к клумбе. Старая, низкорослая женщина в черном платке с ножницами в руках возилась у разомлевших роз.

— Его жена, — сказала девушка.

— А я твой случайный собеседник, Кит, — бросил он, выходя из беседки. — Тебя высledили твои ровесники. Так что мне лучше уйти.



6
ГЛАВА

Стараясь избегать пляжного соседства с девушкой, Собеседник уходил в дальний угол береговой дуги и валялся там среди гладких камней и выброшенных штормами коряг. Здесь было то, в чем он по-прежнему нуждался больше всего: покой.

Один.

Девушка загорала в компании подруг. После купания она выходила из моря, немного подавшись вперед. К своему лежаку она так и шла — немного подавшись вперед. Мужчины восхищались ее фигурой открыто, не считаясь со своими женами. Женщины — само собой — не менее открыто порицали девушку. В демократической атмосфере ДТ женщины прощали друг другу все, кроме совершенства. С недавних пор к девушкам присоединился московский адвокат. В его

облике угадывалось беспросветное, суконное занудство.

Занудой он и был. Звали его Ратмир.

Под соседним пляжным зонтом располагались международники. Некоторые из них уже успели загореть. Некоторые — сгореть. Двоих Собеседник знал по меньшей мере лет десять.

«Эти не сгорят».

Один из них был знаменит тем, что болезнь, известную в психиатрии, как мания преследования, превратил в профессию: из года в год он рассказывал простодушным читателям об охоте за его персоной всех империалистических разведок мира. Байки приносили ему потрясающие деньги. Другой прославился иначе: проработав в Америке больше шести лет, он не сказал о ее народе ни одного доброго слова. Тоже надо уметь.

Собеседник не осуждал своих коллег. В конце концов свой способ лгать должен быть у каждого.

А вот и Коробов — внутренник для поддержки международников. Коробов лежал на спине и смотрел в небо. Он разговаривал сам с собой — тяжелое похмелье.

— Жив? — спросил он, узнав Собеседника. — Присядь. А то тоска.

У него был тихий, сдавленный жизнью голос. Двадцать пять лет Коробов занимался одним и тем же: готовил комментарии к телеграммам ТАСС. Тема телеграмм и комментариев была постоянной: рекордная безработица в странах Западной Европы и Америки.

— Тоска, — повторил Коробов.

Собеседник согласился: тоска.

Он знал: Коробов был идеальным семьянином. Он не мыслил себя вне дома. И любил только одну женщину — свою жену. Они прожили вместе 27 лет. Жена и уберегла его от психушки — постоянные телеграммы ТАСС вели туда прямиком. Но однажды жена явилась домой с большой новостью: влюбилась в гения без гроша в кармане. Жизнь или смерть.

Всю долгую московскую ночь Коробов просидел у окна, выходящего на проспект Мира. Утром он навсегда покинул свой дом. С собою он взял только две вещи: нож и вилку. Идти ему было некуда, и он пошел на близкий Рижский вокзал. Здесь, пользуясь своими приборами, он впервые за 27 лет позавтракал один, без женщины, которую любил.

— Пригубишь? — спросил он. Бутылка торчала из гальки.

— Не тянет, — сказал Собеседник.

— А меня так волоком.

— Ну, давай, — согласился Собеседник.

Рядом замер незнакомый им тип — подобной худобы Собеседник не видел даже в Бангладеш.

— Будешь? — спросил у скелета Коробов.

— Неужели ж нет? — заискрился Скелет.



7

ГЛАВА

Пассажирские самолеты поднимались с близкого аэропорта Сухуми и разворачивались на виду у всего берега. Досмотрев разворот «Ил-86», девушка сказала:

— А я летала уже три раза.

Признание ошеломило Собеседника. Он перевел дух и сказал:

— Никогда не догадаешься, что узнаешь о человеке в следующую минуту.

— Конечно, — засмеялась девушка. — Вы же летаете не меньше пилотов. А в «Бермудском треугольнике» были?

— Много раз, Кит, — сказал он. — Пересекал по воздуху.

— И все было нормально?

— Как сказать.

— Но вы же не верите в эти бермудские дела?

— Нет, — ответил он.

— Потому что с вами ничего не происходило?

— Происходило.

— С вами?

Он посмотрел в ее глаза:

— Это нехорошая история.

— Тем лучше, — сказала она и сжала коленями свои облепленные песком ладони.

...Он улетал из Колумбии. После дозаправки в Барранкилье их «боинг» взял курс на Нью-Йорк. Маршрут проходил над Карибским морем и южной частью Атлантики. То есть, уточнил он, через центр Бермудского треугольника.

На двадцатой минуте полета правая плоскость «боинга» поднялась вверх. Самолет вошел в вираж.

— «Боинг» повел себя, как истребитель, — сказал он.

За его спиной сидела десятилетняя пассажирка. Ребенка везли в психиатрическую клинику Мео. Девочка жила своей внутренней тайной. Или пустотой.

Самолет пошел на разворот — девочка громко рассмеялась.

Спасательного жилета под его сиденьем не оказалось. Но он бы и не пригодился: внизу был худший участок Кариб-

ского моря. В воде обитали белые и донные акулы. Он хотел сказать о большой девочке и об акулах, но сказал:

— «Боинг» слил горючку и потянул назад. «Треугольник» нас не пропустил.

Он хотел рассказать о том, как обращался берегу в дымке, и манговым зарослям, и великой реке Магдолене с желтой водой, впадающей в зеленую воду моря, но сказал:

— Сели мы с трудом. Вернулись в Барранкилью. Двигатели ремонтировали час. Взлетели.

Взлетели чисто и хорошо. На двадцатой минуте полета правая плоскость «боинга» снова резко поднялась вверх. «Боинг» вошел в вираж. Больная девочка — ликовала. Ее цинковый, жутковатый смех раздавался за его спиной. Тогда он, помнился, испытал к ней больше чем ненависть.

Теперь — нежность.

Рев турбин расслаивался. «Боинг» повернул к материку.

Собеседник хотел рассказать о том, как впервые оказался в ситуации, когда человеку не остается ничего — только сидеть и ждать. Можешь закрыть глаза. И ждать в темноте. Можешь открыть глаза и смотреть — сердце обязано справиться

с увиденным. Что-то мне намекнуло, хотел сказать Собеседник, что если ты когда-нибудь встретишь свое спасение в темноте — тень уже не уйдет из твоей души никогда.

— На двадцатой минуте, — сказал он сухо, — история повторилась: «боинг» завалился набок. Брякнулись все в той же Барранкилье. «Треугольник» казался непробиваемым.

Кит слушала молча. Она уставилась в песок и, выбрав из всех песчинок одну, уже не отвлекалась на другие.

«Может быть, она меня и не слышит?» — подумал он.

— Слышу, — тихо отозвалась девушка.

— Прошло четыре часа, — сказал он, — прежде чем нас пригласили на посадку. Половина пассажиров уже улетела в Нью-Йорк через Мексику. А кто-то — через панамский Токумен.

Самолет был освещен мощным прожектором.

На этот раз, хотел сказать он, мы входили в «боинг», как в хорошо знакомый гроб. Королевских размеров. Но сказал:

— Мы полетели. Была ночь.

Ни один ночной полет, хотел сказать он, не сравним с полетом днем. Только но-

чью и только во мгле над океаном можно понять, как беспределен мир и как отчаян человек в своем движении. Но он сказал:

— На двадцатой минуте левый двигатель уже не просто заглох, а загорелся. Больная девочка стала заходить в цинковом смехе. Молодожены, кажется американцы, обнялись и глухо, по-волчьи, завыли.

Вознаграждается, по-видимому, все, хотел сказать он. Спокойствие и труд. Воля и простота. И только отчаяние — обрекает. Но сказал:

— Мы в третий раз повернули назад. Двигатель горел. А море все не кончалось.

Хотел сказать: я увидел в иллюминатор плантации огней. Мои глаза были все время открыты. Хотел сказать: огни Барранкильи трепетали в лунной дали, как тысячи свечей под темно-красными колпачками церкви Святого Франциска в Боготе, которую он посетил перед отлетом. В церкви, где толкались богатые и нищие, больные и здоровые. И уже заболевшие, но еще не знавшие об этом. Хотел сказать: в церкви были верующие, испокон веков жалеющие тех, кто, подобно ему, не верил, и люди, в глазах которых сверкала жалость к тем, кто верил.

Да.

Хотел сказать о глупцах, которыми переполнен мир, состоящий из церквей, городов, стран и континентов

Но все это было внизу, на земле. А он был наверху, в ночном небе. И в те минуты он не думал ни о богатых, ни о нищих. Ни о верующих, ни об атеистах. Ни о глупцах, ни об умных.

Он не думал о пропорциях.

Он слышал смех девочки. Его силы были истреблены надеждами. Он устал. Он смотрел в иллюминатор и видел все те же плантации огней. Только теперь они становились все ближе. В какой-то момент ему даже показалось, что «бонинг» уже не просто горит и падает, а зло и целеустремленно несется в одну определенную точку — в церковь Святого Франциска. Минута — и все будет кончено. Со всеми. Скорость — семьсот километров в час.

Но он сказал:

— В третий раз мы не сели. А грохнулись. В иллюминаторы ударили струи хлорки. Пожарные машины стояли вдоль всей полосы.

Он подумал тогда, что пустота, гудящая в его сердце, уже не заполнится никогда. Какая чепуха, подумал он теперь.

Он хотел сказать об этом девушке, но сказал:

— Три спасения за десять часов — слишком много. Радости хватает лишь на два.

Девушка потеряла из вида песчинку и увидела песок.

— В четвертый раз, — закончил он, — мы пролетели «Треугольник» без происшествий. Но уже на новом «боинге». Его прислала в Барранкилью «Авианка» из Боготы.

— Когда это было? — спросила девушка.

— Пять лет назад, — сказал он. — Есть продолжение?

— Объяснение.

— Слушаю, — сказал он насмешливо.

— Так вот, в самолете было два, — на секунду она замолчала и повторила — два разных человека. В одном лице. Один, над которым сиял нимб. Другой, над которым витал рок.

Собеседник усмехнулся:

— Схватились жизнь и смерть?

— Да, — серьезно сказала девушка. — Схватились. Над кем витал рок, вы так и не узнали.

— А над кем сиял нимб? — засмеялся он.

— Хорошо, что вы смеетесь.

ГЕННАДИЙ БОЧАРОВ



ГЛАВА

— Привет, классик, — окликнул его звенящий голос. Он оглянулся. Под широким зонтом, в кругу игроков в преферанс, по-турецки восседала женщина. Она жадно курила, участвовала в игре и не упускала ни одного передвижения по пляжу.

— Привет, — сдавленно сказал Собеседник. — Я тебя не узнал.

— Ничего, — сказала она, переворачивая карту. — Это я.

Да, конечно, это была она. Он посмотрел в ее снайперские глаза, на желтые, как сера, щеки и подумал: а ведь это счастье — встречаться с нею только на минуту и только случайно. Долгое время они работали в одной молодежной редакции. Он не забыл, как под разными предлогами пропускал лифт, чтобы не оказаться с невыносимо прокуренной, потеющей даже в январские морозы Аллочкой. Она была подлинным исчадием ада.

— Ты не меняешься, — заключил он.

— Ты тоже, — сказала она. — Хочу сообщить тебе, классик, что...

— Может быть, в другой раз, — начал было он, — я...

— Никто, — сказала она, — не умеет писать так плохо, как ты.

Он почувствовал облегчение.

— Просто дермо, — продолжала она.

— Но и другое, — она обвела худой, коричневой рукой пляж, — никто из этих недоносков не может написать так классно, как ты. Парадокс.

Игроки засмеялись. Двое, знавшие Собеседника, подтвердили: карга права.

Он попытался представить себе мужчину, который бы по доброй воле и в здравом уме сблизился с Аллочкой. Воображение отказывало.

Между тем, у Аллочки был когда-то муж. Спортивный, красивый парень. Так, по крайней мере, гласила молва.

— Аллочка! — сказал Собеседник. — Я, пожалуй, пойду.

— Ты здесь как будто один, — проговорила она, словно не слышала его слов.

— Но в последнее время не очень. А? — она подбросила карту. — Та девица, что

часто с тобой — твоя? Не слишком для тебя хороша?

— Слишком, — согласился Собеседник. — Потому и не моя.

Игроки подняли головы.

— Отдай ему, — засмеялась Аллочка. Она кивнула в сторону коллеги по префу — крепкого, пустоглазого парня из «Маяка» — Собеседник помнил его по совместному полету на Северный полюс, на триумф экспедиции Шпаро.

«Невольный сын эфира».

— Отдай, — повторила Аллочка. — Он здесь у нас волк-санитар. Подбирает все. А твоя станет призом. Отдашь? — Аллочка показала редкие синие зубки. Все засмеялись.

Не драться же.

Он обошел пьяного Коробова, который, как всегда, лежал на спине и смотрел в небо, надеясь найти ответ на вопрос, что должен делать мужчина, которого бросила любимая жена — жить и любить дальше или возненавидеть и умереть.

— Не обижайся, — прокричала ему Аллочка вслед. — Приходи к нам.

Аллочка! Длинное, узкое туловище, короткие, кривые ноги. «Ложь на коротких ногах». Она плыла по жизни подобно коряге, ударяясь об ее жесткие, крутые берега.

БЫЛЫЕ
ДНИ

ГЕННАДИЙ БОЧАРОВ



ГЛАВА

— Ну, что, Кит, по кофе? — спросил Собеседник.

— Уже три раза.

— А сок?

— Пять.

— Отпуск есть отпуск, — сказал Собеседник. — У тебя — первый. А у меня... Может, по шампанскому?

Она, согласившись, направилась к калитке.

«Фигуру богини видел только Бог».

Они добрались до маленького уютного ресторанчика и устроились на террасе. По стволам близких магнолий текли ручейки коричневых муравьев. Тянуло дымом костра, в темно-зеленых листьях над террасой мелькали пятна солнечного света.

Официант принес бутылку шампанского и гроздь винограда.

— Вы меня ни о чем не спрашиваете, — сказала вдруг девушка. — А у меня есть биография.

— У Иисуса Христа биографии не было, — сказал он. — И я не тоскую по биографиям. У всех они более-менее одинаковы. В этом — сила нашей державы.

— Ну, да, — отрывисто кивнула девушка. — В этом-то смысле да — одинаковы.

— В школьные годы тебя, конечно, развивали.

— Еще как: рисование, плавание, фортепьяно. Однажды остановилась перед зеркалом, вижу — скрипичный ключ. Но с моими глазами. Так я узнала, что это я.

— Вершина устремлений — МГУ. Журфак, — предположил он. — И живешь, конечно, в центре.

Кивок: и журфак, и центр. Патриаршие пруды.

Он представил утренний московский туман над старой водой, скамейки с одинокими фигурами, детский городок, оккупированный алкашами.

— Дистиляр.

— Могу обидеться, — сжала девушка ненакрашенные губы. И в ее глазах появились необъяснимые слезы.

— Ни к чему, — миролюбиво сказал он. — Зайди в любую редакцию. Или к отцу, в МИД. Он же в МИДе?

— Да.

Собеседник разлил шампанское по бокалам.

— Кит! — засмеялся он, увидев, что девушка ушла в себя. — Они — хуже!

— Ладно, — кивнула она. — Ладно.

Он придвинул аккуратный шатер на крахмаленной салфетки, серьезно сказал:

— За отпуск.

— За отпуск.

Чистое миловидное лицо напомнило ему одну из его историй.

«Прошлое хватает нас за ножки».

Девушка оглядела долину, спросила:

— Какое место на земле самое красивое?

— На земле много красивых мест, — сказал он, глядя в красивые глаза девушки. — Уйма.

Большинству людей, подумал он, чтобы выглядеть интересными, приходится напряженно врать. Ему это было ни к чему — так много он видел.

Он уже много лет летал по миру. И чем больше летал, тем меньше хотелось говорить об этом. Люди реагировали од-

нозначно: хвастун. Даже друзья! Догадывался: большой мир — Америку, Англию, Францию или Японию — видели, условно говоря, лишь десятки счастливцев. Социалистический осколок мира — сотни. А он видел и тот и другой миры постоянно.

Но при этом он оставался чужаком. Чужаком среди избранных. И многое понял не сразу. Когда-то он работал в подземных квершлагах Кемерово. Хорошая была жизнь — простая и ясная. Но захотелось другой. И он сделал рывок. Рывок оказался на редкость удачным. Удача растянулась на годы. Экономическое могущество страны крепили теперь другие: и в квершлагах, и у мартенов. Они-то и поддерживали тех, кто летал по большому миру — в том числе и его самого. Азы политэкономии. Большинство тех, с кем он летал, так называемые дипломаты и политические обозреватели, получали посты за бугром и полеты в наследство. Дипломатическая вязь, которой они занимались на протяжении всей своей жизни, никогда не доводилась ими до конца, чтобы не оставлять без дела уже своих собственных детей и внуков.

Подобная традиция существовала и в разведке.

Ему это было безразлично: заботиться было не о ком. Детей у него не было, с женой он пристойно расстался еще на беззобачной заре своей зрелости и был, таким образом, свободен от известных наследственных забот.

Однажды он стоял рядом с могучим кактусом у входа в здание рабатского аэропорта. Только что они перелетели Атлантический океан, и самолет готовился к последнему прыжку — из Африки в Москву. Взлетно-посадочная полоса упиралась в открытый океан. В жарком беспредельном небе проплывали многоэтажные тропические облака. Эту картину он уже видел не раз. Но что-то вдруг изменилось. Что-то беспокоило.

Мысль.

Простая и ясная, как далекая прежняя жизнь, мысль: «Великие перелеты ради незначительных целей».

Он вдруг подумал: все, чем он занят, — никому, в сущности, не нужно. Репортажи, которых от него ждут редакционные чиновники — высоки и бессмысленны, как публичные молитвы. Усилия, время, средства, напряжение — все затрачивается впустую. Ни одна мысль не поражала его такой откровенной правдивостью, как эта.

Ни одно откровение ни до, ни после не совершало в нем такого переворота. Ничто так не воздействовало на его конформистское сознание. А эта мысль, это откровение — воздействовали. Он стал другим. Для всех — прежним. А для себя — другим. Новая география поездок — Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Ангола, Афганистан — примирila его с собственной судьбой. Чудовищный, страшный мир безмерных человеческих страданий, грызни политических карликов, воспевать революционные достоинства которых входило в его обязанности, все это довершило дело: Собеседник стал циником.

«Не приведи, Господи».

Ибо цинизм его был не холодным, как лед, а печальным, как жизнь.

— Задумались? — весело спросила девушка.

Он потер подбородок:

— Ты, кажется, просила о чем-то рассказать?

— Давно это было, — засмеялась она. — О самых красивых местах на земле.

Он повертел бокал:

— Настаиваешь?

С террасы открывался прекрасный вид. Над мандариновыми рощами держа-

лись линзы светло-голубого дыма — жгли желтеющие листья.

«Осень, как война, делает все города и страны похожими друг на друга».

За предгорьями, покрытыми лесами, громоздились коричневые, сухие скалы. Черные стволы близких к террасе магнолий обвивали беспощадные в своей любви лианы.

— За любовь, — неожиданно для себя и для Собеседника произнесла девушка.

— Выпей сама, — сказал он.

Бриз раскачивал тяжелые розы. Грязный отрешенный поросенок с деревянной рогатиной на плоской шее рыл влажную клумбу. Он был неистов в своем упорстве.

Девушка выпила. Собеседник помедлил, отпил глоток:

— Красиво?

Она посмотрела в его глаза и после секундной паузы, засмеявшись, сказала:

— Поняла, — и, как всегда, отрывисто кивнула головой.

По дороге в Дом творчества они заехали еще в два бара. Собеседника развезло: шампанское, «Псоу», коньяк и бутылка невнятного сладкого пойла. «Я и правда насмотрелся разных красот, — сказал он,

едва ворочая языком. — Но ни одно из чудес света я не видел с теми, кого любил. Всегда один. А это все равно, что не видел», — заключил он.

Перед самым ДТ он хотел договорить: кроме сегодняшнего дня. Но решил, что с такими вещами не стоит лезть даже в щутку.



УМБД
ГЕННАДИЙ БОЧАРОВ

10
ГЛАВА

Был четверг — август недели. Они сидели на гладких теплых камнях, а транзистор стоял на песке. Весь день они про вели порознь — каждый по-своему. Девушка плавала и загорала со своей компанией. Собеседник — наедине с собой. Транзистор был настроен на стамбульскую волну: турки передавали европейскую музыку чаще, чем Москва.

— Альбинони, — сказал Собеседник, подстроив прием частоты.

«Альбинони. Адажио».

Он не забыл ощущение, которое испытал, услышав адажио впервые. Памятное ощущение. Природа отпустила ему силы с подозрительной щедростью. Он генерировал свою энергию механически — как ветер, как горная река, как дурак. Но кроме энергии существовали еще и чувства. Мелодия расплавила его природные предох-

ранители, и он увидел свое сердце: ни искры, ни росинки, ни желания. А сил — сверх меры. Но сама же мелодия и вернула в его сердце что-то мощное, трагическое и желанное. Что именно, он так и не узнал.

Но миг запомнил.

Девушка молчала. Море после вчерашнего шторма было тихим, как отшумевший греческий театр. Музыка звучала чисто, без эфирных помех.

...Девушка шла вдоль узких каналов вечерней Венеции. Пламя свечи прикрывала ладонью. В серебристых зимних сумерках громоздились силуэты дворца дожей и только что отстроенного Дворца Ка д'Оро. Она миновала церковь Скуола Гранде и вышла к магистральному каналу. Над черной водой легким туманом клубились испарения, где-то лаяли собаки. Вдоль канала тянулись виллы из белого камня.

Она подняла свечу повыше: тот, кого она искала, жил в одной из этих вилл.

В первой ее встретил степенный приветливый человек. Он был красив и аккуратен. У него были легкие, грациозные движения. Но подобные манеры были ей неведомы. Она посмотрела в его глаза и покинула особняк: это был не Он. Не тот, кого она искала.

Во втором особняке она увидела человека с лицом пьяницы. Его тело было сокрушено оргиями. Она всмотрелась в его глаза — он даже не предложил ей войти — и, не сказав ни слова, покинула особняк. И это был не Он.

В третьем особняке ее не встретил никто. Она прошла по гулким, темным комнатаам. Особняк показался ей пустым. Она вошла в комнату, узкие окна которой выходили на канал.

На высокой кровати лежал человек. Он был стар, как крест.

— Подойди ко мне, — сказал он едва слышно.

Она повиновалась.

— Что, в доме больше нет свечей? — хрипло спросил он.

Он принял ее за горничную.

— Не знаю, — ответила девушка.

— Должны быть, — с трудом проговорил он.

Она всмотрелась в его глаза. Он! Это был человек, которого она искала. В эту минуту их разделяло пламя свечи и 234 года.

— Я из двадцатого века, — сказала девушка. — Ваши вещи играют и слушают. Ваше адажио...

Старец с недоверием уставился на девушку.

— Чем ты это докажешь? — спросил он.

— Знаю вашу мелодию.

— Это не доказательство, — возразил Альбинони. — Ты могла подслушать ее здесь. Ты ведь дочь Тосканини?

— Я из двадцатого века, — повторила девушка.

— Докажи мне это иначе, — прокричал композитор.

— Как?

Он подумал.

— Подойди ко мне еще ближе, — сказал он. Девушка подошла. — Ближе.

Девушка коснулась его кровати. Тугие джинсы пропустили холод рейки.

— Скажи мне, когда я умру? — внезапно спросил Альбинони. — Я хочу это знать.

Девушка подняла свечу.

— Ну? — спросил он нетерпеливо.

Она посмотрела в его воспаленные, слезящиеся глаза.

— Знаешь? — спросил он.

Теплое пламя свечи отразилось в глазах Альбинони, как две тусклые снежинки.

— Сегодня, — сказала девушка.

— Как ты узнала? — спросил он.

— В моем веке это известно всем, —
ответила она.

— Я ждал этой ночи, — проговорил
Томазо Альбинони. — Я ждал ее семьде-
сят девять лет. Теперь она настала, — он
приподнялся на локтях.

— Я здесь ни при чем, — испуганно
сказала девушка.

— Я благодарю Бога, а не тебя, —
проговорил Альбинони. — Иди.

Девушка помедлила. Горечь была
сильной, но чужой.

Она задула свечу и вышла на холод-
ную мраморную набережную. Лагуну
покрывал предрассветный туман. Над
Венецией занимался день — 17 января
1750 года.

...Транзистор умолк. Девушка откры-
ла глаза.

— Пол-отпуска позади, — сказал Со-
беседник: — Только пол-отпуска. И по-
думал: «Отпуск может быть длиннее, чем
жизнь. И нелепее».

ЧЕРНОВ
ГЕННАДИЙ БОЧАРОВ
ГЕННАДИЙ БОЧАРОВ

11
ГЛАВА

Ночью он проснулся от тяжелого на-
растающего грохота. Лил дождь. Он встал
с постели, прошел к лоджии и закрыл
распахнутую дверь.

Через минуту гул ливня и грохот при-
боя снова заполнили комнату — застек-
ленная дверь лишь частично приглуши-
ла звук.

Он вернулся в постель. Сыро. Пово-
рочался с боку на бок. Натянул тонкое
южное одеяло. Постарался уснуть. Не
вышло. Поднялся ветер. Стулья и столик
из пластика на лоджии задвигались с от-
вратительным скрежетом.

Встал. Накинул куртку, уставился в
окно. Компания в полном сборе: ливень,
мгла и шторм. В такую погоду, подумал
он, только памятники остаются под от-
крытым небом. Или горький пьяница в
канаве.

...Вход в любую пещеру обстреливался с самолетов «F-14». Все долины и джунгли Лаоса, долина Накай, в которой Собеседник жил с солдатами Патет Лао, были изрыты глубокими воронками от бомб. В воронках от «пятисоток» стояла мутная, красная от красной почвы вода, плавала сбитая колесами вездеходов «Пекин» трава и страстно рыдали лягушки.

Задача Собеседника была трудна: выбраться из этой долины. Единственную дорогу («тропу Хо Ши Мина»), ведущую из пропахшей падалью долины в Ханой, размыло дождем. Но только из Вьетнама — через Бирму и Индию, он мог бы добраться до Союза.

Дождь низвергался 70 суток. Ничего более гнусного, чем сезон дождей в джунглях, он в то время еще не знал. Но, узная худшее, сохранил память и об этом.

Теперь, глядя в окно Дома творчества, он думал — это не ливень. Судорога, схватка и выкидыши неба. А в долине Накай был гибельный дождь.

По ночам он лежал в пещере на узком деревянном топчане и десятки длинных, коротконогих крыс носились у его изголовья. Они грызлись и устраивали шумные свалки. Он слушал их тяжелую

Возню, глухой, бесконечный, как боль мира, ливень и, сцепив зубы, ждал будущего.

Дождался.

Теперь он здесь, в будущем.

Надо бы отметить, решил он. Выпив холодного, волшебного «Псоу», он снова уставился в окно. Тьму прорезал луч мощного пограничного прожектора. Луч был со стороны Сухуми. Белый свет пробежал по дачам писателей, по строениям с мокрыми цинковыми крышами, по столбам и деревьям, затем коснулся волн и угас.

...На грязный, пахнущий плесенью марлевый верх противомоскитной сетки слетались летучие мыши. Они цеплялись острыми коготками за сетку и мяукали, как слепые котята, раскачиваясь над его лицом. В пещерах долины Накай вместе с людьми от дождя спасались змеи, пауки, стоножки, саранча и гусеницы. Постепенно Собеседник привык к такому соседству. Он научился прощать природе ее уродцев. Пусть от страха шалеют ее красавцы, решил он. А я поближе к уродцам.

Он вспомнил трехлапого тигра — правую переднюю лапу тигру оторвало

шариковой бомбой. Бедолага околачивался в поисках пищи у входа в пещеру, в которой жил Собеседник. Где он теперь — полосатый инвалид первой группы? Быть может, самая невинная жертва национально-освободительной войны — азиатской социалистической революции? И какого черта беспомощный зверь все еще торчит в его больной человеческой памяти? Может быть, как раз потому, что она больна? А с чего бы это ей быть здоровой? — подумал он и подлечился новым стаканом «Псоу».

С поджии ударили тяжелые прохладные брызги. Кругом тьма. Он прислушался к сухумскому дождю. Чего только не почудится в ночном гуле воды. Но вдруг он услышал то, что, казалось бы, начисто забыл. Он услышал далекие ритмичные звуки. Звуки напоминали дробь детских барабанов. Ну, конечно, так их Понмек и изображал: умба-умба-умба-умба. Понмек — местный лаосский врач. Из племени лао-лумов. Кажется, он изучал медицину в Париже. Еще до того как они сдружились, Понмек спросил у него однажды вечером: «Ты на ночь уши ватой затыкаешь?» «Нет», — ответил он. «Зря, — покачал головой Понмек. — Зря.

В сезон дождей в Лаосе встречается очень опасный вид микроорганизмов. Через барабанные перепонки они незаметно проникают в мозг».

«Умба-умба-умба».

«И что?» — спросил Собеседник. «Вначале, — ответил врач, — человек слышит глухую, как бы далекую дробь барабанов, что-то вроде “умба-умба-умба”. Микроорганизмы размножаются в голове мгновенно, взрывообразно — до нескольких миллиардов в сутки. Двадцать четыре часа, и все кончено. Мозг убит».

«Умба-умба-умба». Дождь.

Ниже своего этажа Собеседник увидел слабый золотистый свет. Свет падал на мокрую рейку лоджии. Это было окно девушки.

Нет ночей, в которых бы не светилось ни одного огонька.



19

ГЛАВА

Дом творчества «ЛГ» притягивал гостей со всего побережья. Одиночек женщин в ДТ было намного больше, чем одиночек мужчин. Женщина, если она даже замужем, всегда чувствовала себя одиночкой, в то время как мужчина, давно и упорно не замечаемый своей женой, никакого одиночества не испытывал.

Знакомство с гостями происходило не только на пляже, но и у входа в просторный живописный двор ДТ. Рядом с витой металлической калиткой постоянно повизгивало тормозами автомобильное стадо. Молодые небритые джигиты из Очамчири и Сухуми разгоняли «Жигули» до ста километров в час, а затем резко, с замиранием сердца, тормозили у калитки. Переговоры велись прямо из кабин: стекло опущено, локоть наружу. Если девушка артачилась, отказывалась

от захватывающей автомобильной прогулки, владелец машины пускал в ход главный аргумент: «Ныкто нэ узнает». Основной добычей гостей были стенографистки, машинистки, секретарши заведующих отделов редакции, а также рабочая основа газеты — перезревшие лите-сотрудницы, истощенные московской зимой и чужими рукописями, с которыми им приходилось возиться одиннадцать месяцев в году.

У калитки Собеседник налетел на подтянутого, плотного человека.

— Ты!

— Более-менее.

— Хорошо, Тат, что ты приехал.

— Только что, — сказал Тат.

Они обменялись крепким рукопожатием. Много лет назад Тат и он, Собеседник, с такой же взаимной симпатией впервые пожали друг другу руки. С тех пор их отношения не менялись — были ровными и уважительными. Тат привлекал раскованностью, любил смеяться и мог смешить. Он говорил: выживет и победит тот, у кого ничего нет. Или тот, у кого есть все, возражал ему Собеседник. Самому Тату без ничего жить не пришлось — разве что на первых порах.

Однажды Собеседник прикинул — кто из его ближайшего окружения занят делом, ради которого и родился. Оказалось — трое. Одним из троих был Тат. «Классная журналистика, — наставлял он когда-то Собеседнику, — это всегда борьба между тем, что надо, и тем, что есть. Газете требуется одно, а жизнь располагает другим. Одно и другое сшибаются в тебе. Выбирай». А в посредственной журналистике, говорил Тат, что надо, то и есть.

«Плохое — плохо, хорошее — сомнительно, и только никакое — истинно».

Тат говорил: циником может быть любой. Но худшим циником — только посредственный журналист. Или посредственный врач.

— Наших много? — спросил Тат.

— Только я, — заявил Собеседник.

— Зато какие! — выскочила из-под земли Аллочка и шибанула Тата ярким надувным матрацем. — С приездом! — И Собеседнику: — Посторонись, классик!

— Спасибо, — приветливо проговорил Аллочеке Тат.

— Ты ее помнишь? — спросил Собеседник, когда чума унеслась.

— Конечно, — весело ответил Тат.

— Ну, до встречи, — сказал Собеседник. — Еще пообщаемся.

Кажется, Тат был единственным человеком на земле, с которым Собеседник мог бы поговорить о себе. Мог бы спросить: что дальше?

Над пляжем гремела распадающаяся музыка. Музыка раздражала всех, кроме, пожалуй, Счастливого человека — старый рыбак напевал только свою песню. И по-прежнему наслаждался подрагиванием лесок.

Пляж пересек местный фотограф. Остов его широкополой соломенной шляпы украшали 10 тысяч разноцветных целлофановых ленточек — стащил на табачной фабрике в Тбилиси. Когда фотограф смеялся, его золотые зубы сверкали, как цепь береговых огней.

Он никого не принуждал фотографироваться. Но отказаться от его услуг было почти невозможно. Он останавливался над загорающим — прохладная тень нависала над жертвой — и дело было сделано.

Сторонясь, Собеседник обошел лежбище Аллочкиных дружков по префу. Волк-санитар ругался с новичком — московским гинекологом по фамилии Рус-

ский. Вчера Русского и Собеседника познакомили. «Очень, очень приятно», — чисто по-женски расплылся гинеколог. «Не торопитесь», — неожиданно для самого себя сказал Собеседник. Оба рассмеялись.

Коробов лежал на своем прежнем месте. Пьяный Скелет — рядом. Скелет, как вскоре выяснилось, был дипломированным психиатром. Собеседнику об этом сообщил Коробов.

— Вам не нужна моя помощь? — спросил Скелет у Собеседника.

— Спасай, — сказал Собеседник. — Нужна.

Скелет задумался, а затем протянул Собеседнику недопитую бутылку.

— Психиатр всегда знает, что человеку нужно, — сказал серьезно Коробов.
— Пей.

— Не только психиатр, но и терапевт, — заметил Собеседник. — И даже венеролог.

— Но психиатр — особенно, — упорствовал Коробов.

Скелет отрезвил глаза, уставился на Собеседника и четко, раздельно спросил:

— Вы в психиатрию, конечно, не верите?

- Нет, — сказал Собеседник.
- Это видно.
- Пожалуй.

Внезапное проторевление Скелета озадачило Собеседника: человек изменился прямо на глазах. «Но неплохо бы избежать дискуссий», — подумал Собеседник.

— А почему не верите? — спросил Скелет.

- Вы как будто не догадываетесь.

— Конечно, нет, — совершенно трезво ответил Скелет. — Нормальный человек, а не верит.

— Потому и не верю, — улыбнулся Собеседник.

— Нормальных людей в стране нет, — заявил Коробов.

- А были? — спросил Собеседник.

— Были, — ответил Скелет. — Но когда-то. И больше не будет.

— Мы пьем или болтаем? — спросил Собеседник, все еще надеясь избежать дискуссии.

— И пьем и болтаем, — сказал Коробов. — Как вся страна.

Скелет откопал из песка очередную бутылку, сковырнул пробку и пустил бутылку по кругу. Коробов отхлебнул, утер губы, сказал:

— И все-таки про психов.

— Да, — сказал Скелет. — Про психиатрию. Что ты о ней все-таки скажешь? — перешел он на «ты» и уставился на Собеседника.

Собеседник решил осадить Скелета. И неожиданно даже для самого себя сформулировал собственное отношение к безразличному ему предмету. «Меня, — серьезно сказал он, — не может не изумлять карикатурная важность, с какой психиатры размышляют о вещах более чем очевидных, банальнейших. Кроме того, обычные люди вполне отчетливо осознают, что психиатрия, как наука, не имеет никаких шансов продвинуться дальше многословной — пусть иногда и блестательной — констатации человеческих состояний. Ни на шаг. Ни на полшага. Вам никогда не выйти из потемков. И тебе», — добавил он, с улыбкой глядя на Скелета.

Скелет не дрогнул и не обозлился.

— Умение анализировать поведение отдельного человека или целых социальных групп, — сказал он с непревзойденным, трезвым достоинством, — главная ценность моей профессии.

— Цену жизни придают и другие вещи. Но не эта.

— А для меня — эта, — сказал Скелет.

— Значит, я наблюдаю последнюю стадию, — заметил Собеседник. — Что может быть неинтересней человека? А тем более — современного? Современного человеческого стада?

Скелет скривил тонкие, словно из кальки, губы и, выпив водки, сказал, глядя в глаза Собеседнику:

— Ты — лучший из всех, кого я здесь встретил. Ты самый не-ин-те-ресный. — И помолчав, добавил: — Ты — самый пустой. Как наши бутылки.

Коробов оживился и внес свою долю:

— Мы — социальная группа пустых бутылок. Самая мощная социальная группа в стране. Ее цвет и ее загадка. Изучай нас, психиатр!

Пить на жаре было тревожно только вначале. Радость водочного жара внутри очень быстро разбавляла внутреннюю тревогу и соединялась с внешней жарой полдня. Жизнь обретала если не смысл, то по крайней мере энергию и краски. И непреодолимую тягу человека к человеку — пустых, ложно играющих в жизнь бутылок, едва удерживающихся на трагически не понимающих собственную голо-

ву ногах: куда топать? К какой черте — последней или все еще к промежуточной?

Собеседника понесло к промежуточной. Мимо компании девушки. Подставив солнцу молодые, плоские животы, подружки слушали разглагольствования адвоката Ратмира. Зануда рассказывал о суде над торговой бандой Москвы и над директором Елисейского гастронома.

Миновав все компании, включая собкоров-международников, Собеседник добрался до своих коряг и камней. Заваливаясь на песок, он в который раз подумал, что, несомненно, и этот отпуск должен, наконец, закончиться.



13

ГЛАВА

Весь день дул ветер, но море оставалось спокойным. Шторм ожидали к ночи.

Кит и Собеседник сидели у тельфера. На берегу белели сломанные ветки. Каждое лето после сильных бурь в горах Сванетии их сносило в море по рекам. Волны ошкуривали ветки, полировали, а затем снова выбрасывали на берег.

Кости деревьев, безразлично подумал Собеседник.

— Кости деревьев, — сказала девушка, проследив за его взглядом.

Он повернул голову и увидел, что она поднялась и подошла к воде. Ее сиротская фигурка на фоне серо-зеленого моря поразила его.

Дитя человеческое.

— Тебе не холодно, Кит? — спросил он.

— Нет, — беззаботно ответила она.

— А то возьми мою куртку.

— Мне не холодно, — повторила девушка.

Острое, неожиданное чувство, которое он испытал к ней в эту минуту, огорчило его.

Свет над морем резко изменился. Ветер усилился. Смотреть на небо стало труднее — свет усиливался вместе с ветром.

Собеседник испытал знакомое беспокойство.

— В музее Золота в Колумбии, — поднялся он с гладкого камня, — я видел копию Эльдорадо. Цвет как это небо.

— Золотой?

— Золотой, — сказал он. — Но вообще-то Эльдорадо значит позолоченный, а не золотой. Там же я узнал и о Гуатавите.

— А я узнаю? — спросила девушка.

— Слушай, — сказал он. — И узнаешь.

Он говорил, а девушка уже словно стояла на берегу озера Гуатавита вместе с тысячами странно одетых людей и смотрела на спокойную воду. Над озером струился такой же, как и теперь над Черным морем, свет. На воду опускали тростниковый плот. Плот был нагружен изумрудами и золотыми изделиями — тунхое. В окружении жрецов на плот

поднимался новый вождь племени муиска. Люди приветствовали его радостными криками. В сердце девушки началась напряженная борьба — что-то рвалось наружу.

Собеседник рассказывал.

...Плот медленно доплыл до середины озера. Слуги бамбуковыми шестами искали самое глубокое место. Жрецы принялись за работу. Они обмыли молодое тело вождя, покрыли его ароматической смолой. Затем — золотой пудрой. Вождь стал Эльдорадо.

Собеседник рассказывал.

Вождь вознес к небу позолоченные, освященные руки. Произнес молитву. Молитва была обращена к богам, населяющим небо. Вождь просил принять скромные дары. Получив согласие, он поблагодарил богов и поднял с плата самый крупный сверкающий изумруд. Подержав изумруд на виду у всех, он плавно и величественно подбросил его вверх. Маленькое твердое зеленое солнце, описав дугу, закатилось в холодную мглу Гуатавиты. Все, кто был на берегу, а не только Эльдорадо, принялись бросать в воду золотые украшения, принесенные с собой. Вода едва успевала

ла смыкаться над тысячами вспыхивающими воронок.

Девушка боялась дышать. На ней не было ни одного украшения. Она видела счастливых, веселых людей, радость которых возрастала по мере того, как они освобождались от драгоценностей. Душа девушки рвалась на лоскуты. Человек XX века, она бы хотела быть похожей на этих людей. Но то, что в древние времена вызывало радость, в ее времена вело к потере рассудка.

Ветер и соленая пыль волн ударили с новой силой, свет над Гуатавитой погас. Девушка огляделась вокруг: кости деревьев, умолкший Собеседник, сумерки.

— Ну, что, Кит, по домам? — спросил он.

Пока они шли к ДТ, темнота стала непроницаемой.

— Ты где? — спросил он.

— Иду, — ответила девушка. — Рядом.

Он протянул руку. Рядом угадывалось только море. Начинался штурм. «Днем люди — люди», — подумал он. «Может быть, только днем».

«Noches tristes»*.

«.....»

* Печальные ночи (исп.)



ГЛАВА

Заканчивался итальянский фильм. В кинозале ДТ стояла пещерная жара. Собеседник и девушка ждали, когда загорится свет.

Комната девушки была на два этажа ниже кинозала. Спустившись по винтовой лестнице, они остановились у ее двери. Звякнул ключ с металлическим грузилом.

— Может, по стаканчику вина? — нерешительно начала она. — Я ведь тоже с запасами.

— Иду первым, — ответил он.

Через стеклянную дверь лоджии падал свет рефлектора, укрепленного на тельфере. Точная копия его комнаты. Собеседник потянулся к выключателю.

— Бросьте вы, — по-домашнему сказала девушка.

Над морем висела огромная розовая луна. Но девушка сказала о луче рефлек-

тора: «Его свет, как игла при судороге». И разлила по стаканам вино из холодильника:

— Выпьем?

— В этом деле я уступчив, как наложница, — сказал Собеседник.

Девушка никак не отреагировала на грубость, и они выпили.

— При такой луне, — нарушил молчание Собеседник, — ни один раненый на поле боя не выживает. Это заметили еще во время Первой мировой войны. Кровь от света луны теряет способность сворачиваться.

— Страшно, — проговорила девушка. — Страшно.

— Ладно, Кит, — взбодрился Собеседник. — Давай о веселом. Почитаешь что-нибудь?

— Нет. Веселого маловато.

— Ну, давай невеселое, — с деланным смирением проговорил он.

Она прочитала. Он допил вино.

*Даёсে свечки не коснулось
Лунное сквозное дуло...*

Он шагнул к лоджии. Она тоже. Столкнулись. На мгновение он ощущил ее

грудь и бедра. Две молниеносные твердые ладони ударили его — он едва удержался на ногах.

— Черт! — взорвался он. — Я же случайно! Слу-чай-но!

— Извините, — испугавшись собственной резкости, прошептала девушка.

Он был в ярости — ее извинений он не услышал. Оттолкнувшись от рейки, шагнул мимо девушки и решительно вышел из комнаты. Вернувшись к себе, он сбросил одежду — рубашку на пол, брюки — на рубашку. Повалился на кровать. «Стерва! Недотрога! Курящая девственница!»

Один!

Но ведь с этого он и начинал. Об этом он ведь только и мечтал. Вскочив с кровати, он ринулся к холодильнику: «Псоу» оставалось на дне бутылки. Допив вино, он сказал себе, словно постороннему: пора возвращаться к водке. Вино не для меня. Для меня — водка. В водке есть все компоненты, которые есть в молоке матери, вспомнил он утверждение своего закадычного друга. Но в холодильнике водки не было.

Он вышел на лоджию. Обвел взглядом нижние этажи. Ежевечерние пьянки

уже угасли, на круглых столиках громоздились огрызки яблок, груш, скрюченные среди пустых стаканов окурки. Все это возносились над свежим ночных морем подобно литературной помойке. «В прямом, а не в литературном смысле слова», — подумал он. Картину довершали развешенные на перилах плавки, бюстгальтеры, полотенца.

Свет луны бил прямо в глаза. Эта сука похожа на мину, подумал он. Да, на морскую мину. И на дуло. Именно сквозное. Такая же луна горела над ним не раз в небе Африки.

...На краю утрамбованной площадки стояли три бетонных столба. К каждому был привязан человек. Держались на весу: проволока была затянута поперек черных тел. Он вышел из машины и посмотрел на негров, привязанных к столбам. Потом на негров у стоящего неподалеку орудия. Потом снова на негров, привязанных к столбам. Привязанные были голыми, только узкие набедренные повязки. По напряженным животам стекали тонкие струйки крови — все трое были привязаны колючей проволокой.

Коллега Собеседника, знавший португальский язык, спросил, где командир

расчета. Молодой солдат ответил, что командир, к сожалению, уехал в Луанду. А за этими — он кивнул в сторону привязанных — приедут скоро из штаба. И что-то добавил. Коллега перевел: Вон тот — он кивнул на одного из привязанных, с круглым, как очко в солдатском гальюне, лицом — людоед. Здесь их много. Даже среди военных шишек.

Негры висели молча.

Солдат повертелся вокруг Собеседника, передумал, обратился к его коллеге. Тот предложил «Яву». Раскурив сигарету, солдат шагнул к первому пленнику. Глаза всех троих забегали, словно им прижигали пятки. Солдат ткнул сигарету в толстые губы первого. Негр жадно затянулся. Солдат вырвал сигарету, подошел ко второму. Поднес сигарету ко рту и ткнул в толстые губы. Тот жадно затянулся. Солдат вырвал сигарету, подошел к третьему — каннибалу. Все повторилось.

Со стороны рыбакских поселений до неслась дробь барабанов. Ритмы глушились душной лунной мглой. Но Собеседник расслышал: умба-умба-умба.

Сели в машину.

Умба-умба-умба.

Машина развернулась и помчалась по узкой песчаной косе — высокие костры, тяжелые пироги, голые рахитичные дети, беременные женщины с большими, счастливыми животами, гибкие мужчины.

«Влево! Влево! Влево!»

Взрыв, пулеметная очередь, беспорядочная стрельба, три машины — в пла-
мени.

Умба-умба-умба.

Набережная Марджинал, грузовики с солдатами ФАПЛА, грузовики с солдатами НПЛА, лоб в лоб, пуля — в пулью, залитый лунным светом Атлантический океан. Кто же из них прав? — пьяно размышил Собеседник, смывая с лица в перегретой за день гостинице грязь и копоть недавней заварухи на дороге. И почему мы на стороне этих, а не тех? И чем эти от тех отличаются? И какие из социалистических революций лучше — азиатские или африканские? Все они ведь — социалистические. Только в Азии их вершат желтые и косоглазые. А здесь — черные и с глазами павыките. Руки чесались написать: национально-освободительная борьба собирает кровавую пошлину по всему земному шару. Или «Луанда в петле свободы».

Но кто это напечатает?

Теперь лунным светом было залито Черное море. Справа, в 15—18 километрах от ДТ, перемигивались огоньки Сухуми. Собеседник сел на стул. Поднял ноги на рейку лоджии. Неплохо бы все же оказаться в Африке снова, подумал он.

В дверь постучали.

Неплохо бы заполучить то, что он заполучил там однажды. Ничего особенного, но повториться не может: только там и только тогда. А надо бы сейчас. Под настроение.

Стук в дверь усилился.

— Да! — закричал он, но вспомнив о том, что раздет и что дверь заперта, поднялся со стула. Набросив халат, подумал: наверное, Тат. И с удовольствием прокрутил ключ.

— Не спите? — спросила девушка.

— Не пойму, — с мстительной грустью ответил он. — Может и сплю.

— Я на минуту. Захотелось кофе...

Его сердце забилось тяжело и сильно. Он взбесился — сердце забилось еще сильней.

— Дам.

Возня с кипятильником не помогла — волниение не проходило. Кофе он приготовил только для девушки.

Вышли на лоджию. Цикады просеивали ночь через сито из цинка. Вот он, мой новый внешний мир, мелькнуло у него. Скукожился до размеров лоджии. Семь квадратных метров. Добровольный плен отпуска.

— Дивная, дивная ночь, — донесся снизу голос какого-то кастрата.

Лунная дорожка делила море на две равные части. Жидкое золото непристойно трепетало на зеркально-серебристой глади. Золото! Хрен вам, а не золото, хотел выкрикнуть Собеседник.

Просигналила машина.

Хрен вам, а не серебро! — хотел выкрикнуть он.

Внизу, по теплым плитам двора, заскользили ангелы ночи: Аллочка, Волк-санитар с новой жертвой, гинеколог Русский, некромат* из АПН с огромной дыркой в голове неизвестного происхождения. Никто не верил, что дыра не болит и что с такой дырой в башке можно жить и лакать горькую. Тени перекликались, словно были не на берегу, а в море. И громко смеялись, словно были счастливы.

* Человек, якобы обладающий искусством вызывать души умерших, чтобы от них узнавать будущее.

— Вы обещали мне рассказать об Африке, — неожиданно для Собеседника сказала девушка.

— Когда? — вздрогнул он.

Она не ответила. В ее глазах появились слезы. «Африка должна помочь», — с несвойственным ему злорадством подумал Собеседник.

— Но я не обещал!

— Ладно, — кивнула девушка. — Можно листок бумаги?

— На столе.

Закончив писать, сказала: «Только что». И направилась к двери. Он проводил ее взглядом. Чокнутая? Бедные мужчины. И посмотрел на свое лицо в зеркале. «Возможно, к своей настоящей старости я буду выглядеть хотя бы немного моложе», — заключил он.

— Бедные женщины, — проговорила девушка, прикрывая за собой дверь.

Он взял оставленный ею листок, прочитал:

*Обезумела волна
От случайных совпадений.
В час высокого затмения —
Уступила ей луна
Право
первого
падения.*

Он сбросил халат, выключил плафон.

Лег, перевернулся с боку на бок.

Правильно, сказал он, думай об Африке... Оружие ремонтировали в «Асме», под Луандой. Пулеметы, автоматы, ружья и пистолеты свозили из районов боевых действий. Из отремонтированных стволов палили два фиолетовых, оглохших негра — вели пристрелку. «Могу помочь, время есть», — сказал Собеседник. «Бери, сынок, действуй, — сказал один из негров. — Не тяни».

Он стрелял из пулеметов. Бетонная стена крошилась, точно была из гипса. Покончив с пулеметами, стрелял из автоматов. Когда из ушей потекла сукровица, перешел на пистолеты.

— Помог? — спросил он, шатаясь, словно раненый.

— Помог, помог, — закивали головами негры. — Помог.

Через железные ворота мастерских с ревом въезжали три огромных пропыленных грузовика. Их кузова были набиты новыми партиями оружия, включая 400-миллиметровые американские гранатометы.

Он зажег плафон. Взял бумагу. Написал: «Киту — об Африке. Рассказ: пулеме-

ты «мадсон» (Дания), «бреда» (Италия), «машингверк» (Германия), «НК-21» (Англия); автоматы: «УЗН» (Бельгия), «ВР» (Португалия), «мат» (Франция); пистолеты: «валтер», «севажо», «браунинг», «кольт», «штерлин», «таурис»... Подписал: «Собеседник».

Сложив лист вчетверо, запечатал его в редакционный конверт, набросил халат и, пройдя по тихим, пропахшим вином и морем коридорам ДТ, подсунул конверт под дверь девушки.

«Аминь».



15
ГЛАВА

В баре ДТ было тихо и прохладно. Бармен из местных, больше напоминавший президента США, чем жителя Гульрипши, с неторопливым достоинством прохаживался за стойкой. В это время дня основная публика ДТ и многочисленные, шумные гости развлекались на пляже.

Тат пил «пепси», Собеседник — вино.

— Никто не видит, что я передаю в редакцию, Тат, — говорил Собеседник. — А что печатают — видят все.

— Вполне приличные вещи, — с улыбкой возражал Тат. — Временами даже возвышенней, чем у меня.

— Порнуха, — говорил Собеседник. — Дерьмо.

Отношения Тата и Собеседника с годами почти не менялись. Виделись они, правда, редко. Но чтобы видеться часто,

нужны другие отношения. А они не враждовали.

Тат был прост с друзьями и корректен с начальством. Пару лет назад руководство Гостелерадио СССР предложило ему должность политического обозревателя. Тат, бесспорно, был одним из лучших газетных публицистов. Предложение казалось логичным и лестным. Кроме многомиллионной аудитории, которую он заполучал, в сущности, автоматически взлетал и его жизненный уровень: кремлевка, спецполиклиника, машина с номерной серией «МОС». Но Тата смущала тематика — внутренняя жизнь страны. Он знал: одно дело — политобозреватель-международник вроде процветающих Зорина, Бовина или Колесниченко с их неизменной, как день рождения, позицией, и совсем другое — внутренник. Телезрители не могли знать, как действительно обстоят дела на других берегах, и довольствовались тем, что им скармливали киты политической журналистики. Но что происходит внутри собственной страны, знали все. А в ящике появляется вдруг обозреватель Тат и рассказывает о том, чего нет и в помине. Дело для Тата невозмож-

ное. Поблагодарив кого надо в Гостелерадио и агитпроме ЦК за доверие, Тат отказался. Доводы о льготах были отвергнуты им с величайшим достоинством. «Моя мать, — сказал он, — живет в маленьком поселке. А я — в Москве. Но пользуюсь только тем, — сказал он, — что доступно ей. Это — принцип».

Тат остался на прежнем месте.

Вскоре мать умерла, принцип ослаб и Тат получил то, от чего отказывался — стал политобозревателем в газете. Подписчики газетчикам в глаза не заглядывают, в лицо не знают. Все устроилось наилучшим образом.

— Каждая война, — сказал Собеседник, — не похожа на другую. В каждой войне, — напирал он, — свои предатели и герои. И свои патриоты. Но это, Тат, в жизни. — Он отпил вина. — И, кстати, Тат, в моих репортажах. Но до тех пор, пока они не на полосе. А в газетах ты читаешь уже другое: «Патриоты атакуют».

— Я не читаю, — засмеялся Тат.

— Никто не читает, — сплюнул Собеседник. — Никто. Ни в одной войне на земле, Тат, не было таких долгих, ежед-

невных атак, как в наших «Правде», «Известиях», «Комсомолке» и в моей «ЛГ». «Патриоты атакуют!» Хотя бы заголовки меняли, ублудки. Ну, хотя бы раз в месяц меняли!

Тат почувствовал: Собеседнику надо выговориться. «Давай-давай, когда мы еще поговорим».

— Ты понимаешь, — сказал Собеседник, — ни слова о «черных тюльпанах» из Афгана. Все — в корзину.

Тат поднял брови.

Собеседник почти закричал:

— Облетают аэродромы, собирают гробы с ребятами и — на Родину.

Тат настороженно оглядел бар. Бар был по-прежнему пуст.

— Воюем уже несколько лет, — ярился Собеседник, — но об убитых — ни строки. Воюем подушками? О раненых — шепотом. — Он отхлебнул вина. — Я в Афган, как ты знаешь, летаю с начала заварухи. Написал о солдате. Спас под Кабулом связистов, сам — остался без ног. Знаешь, что мне сказал военный цензор? Выброси подальше, сказал он, я тебе уже разрешил написать об одном раненом. Кричу: раненых сотни! Тысячи! А у меня, говорит он, на все полуго-

дие, на все ваши газеты, лимит только на четыре упоминания. На четыре!

Тат кивнул: установка ЦК. Он-то здесь при чем?

— Тошно, Тат. Я ведь все вижу своими глазами. Своими. Молчу об убитых, значит, не могу не врать о живых.

— Врет тот, кто запрещает, а не тот, кто молчит, — сказал Тат.

— Кто-то ответит? — пропустил фразу Тата мимо ушей Собеседник.

— Вряд ли, — сказал Тат. — Устроено так, что вряд ли.

— Устроено кем?

— Устройством жизни.

— А кто устраивает саму жизнь? Привидения?

— Люди.

— Тогда и вина не бесхозна?

— Но в мире нет системы, — возразил Тат, — которая бы не позабочилась о собственной невиновности.

— Скорее невинности, — заметил Собеседник, — как девица.

— Девица — только на первом этапе. А система — на всех последующих, — сказал Тат.

Собеседник отпил глоток, скривился, сказал:

— Систему выручает ротация. Явная и скрытая. Смена ее важных шишек. Ротация — лучший способ ухода от ответственности. Хотя их, способов, наверняка тысячи. И грубых и тончайших. Чем способов больше, тем безопаснее положение тех, кто двигает рычагами.

Сделав новый глоток, Собеседник закончил:

— Коллективная ответственность, Тат, — величайшее изобретение ублюдков.

— Ты это серьезно? — спросил Тат.

— Шучу, — сказал Собеседник.

— Вот-вот, — назидательно поднял брови Тат. — За все, что происходит вокруг, отвечать должен каждый. И я в том числе. И ты. Это, если ты еще не забыл в своем бродяжничестве по миру, называется четко — активной жизненной позицией!

— Забыл, — сказал Собеседник. — Извини.

— Напоминаю, — смягчился Тат. И тут же добавил:

— Ты, похоже, уже давно живешь по принципу старого волхва: «Все люди как люди, а я так как Бог». Да?

— Нет, — мотнул головой Собеседник. — Я — худший из грешников. Я даже утверждаю: греховность появилась раньше, чем само бытие.

Атеистический смех Тата задел Собеседника. Он добавил:

— У нас — закрытый перелом мозга. Мы — скоты.

Вопреки логике Тат не взвился.

— Скоты не пьют водку, — возразил он. — Даже самый крупный рогатый скот водку не пьет.

— А мы — мелкий. Мы скот мелкий. И пьем. — сказал Собеседник. — Пьем, чтобы защититься. А от чего? Этому нет и названия. Но это скалится из всех углов.

Они замолчали.

— Плесни, — сказал Тат недовольно. — Достал.

Собеседник взял свободный стакан, налил вина, придинул к Тату.

— Шесть лет подряд, — начал он, возвращаясь к уже сказанному, — я писал репортажи о космических делах: «Наш специальный корреспондент передает из района приземления». Помнишь?

— Помню, — кивнул Тат. — Ты и пошел с них.

— Ага. Шесть лет сплошной лажи, —
сказал Собеседник.

— Что, не приземлялись? — с издев-
кой спросил Тат, обнажая крупные, ред-
кие зубы.

— Приземлялись. Но без нас. Нас-то
в район приземления не пускали. По
крайней мере до «Союз—Аполлон».

— А где же вы были? Откуда брали
подробности?

— Вот-вот. На всю нашу группу — а
это самые крупные газеты и агентства
СССР — один информатор. Да, наш
«спортивный комиссар» Иван Борисенко.
Мы торчали в гостиницах — в Караган-
де, в Джезказгане, в Кустанае. А он уле-
тал в район приземления. И перед отле-
том говорил: ну, что, ребята, кому чего?
Я, например, говорил: для меня запомни
высоту травы. И был ли ветер. Ребров из
«Красной звезды» говорил: запомни сло-
ва космонавтов в первые секунды. Апен-
ченко из «Правды» просил: засеки цвет
парашюта. И так далее. Комиссар уле-
тал, а мы сидели в гостинице. Лакали
водку. — Собеседник сжал стакан. —
Комиссар возвращался, выдавал нам
свои впечатления. Мы как «очевидцы»
строчили. Не хило, а?

Собеседник выругался.

— Так что где я начался, там и кончился. Без намордника — ни шагу.

Тату казалось, что он знал о Собеседнике все. С сожалением разглядывая теперь его стареющее, обветренное лицо, он решил: слом очевидный.

А Собеседник продолжал:

— Зашел к другу. А у него Евтушенко. Разговор вроде нашего, не о поэзии. Друг говорит: трава пробивает асфальт. Пробьется и правда. А Евтушенко возражает: трава и в самом деле пробивает асфальт. Ну, пробьет. А сверху — каток.

Тат сверкнул близко посаженными темными глазами:

— Не нравится мне твое настроение, старик. Пора перезаряжать батареи. Пора понять: такими, а не иными, нас делает время... Жизнь.

Собеседник упрямо мотнул головой.

— Жизнь заставляет нас быть шлюхами только на одну треть, — сказал он.

— А на две трети мы согласны ими быть сами. Сильней обстоятельств человек, похоже, бывает только, когда они благоприятны. Нет?

— Конечно, — ласково согласился Тат. — В этом все дело.

— В этом, — огрызнулся Собеседник. — За это и выпьем!

Дверь в бар распахнулась. В просвете показался Скелет. Он был один, без Коробова. Прошелестев к стойке, он заказал водку и тут же, у стойки, поспешно выпил. Бармен высокомерно скривился:

- Не отнимаю!
- Повтори, — бросил Скелет.
- Кто этот тип? — спросил Тат.
- Психиатр.

Скелет выпил вторую рюмку, направился к выходу. Но передумал. Шагнул к их столику.

— *Memento mori**.

— Каждую минуту, — с готовностью ответил Собеседник. — Я же обещал.

Скелет покрутился вокруг их столика и направился к выходу.

— Во что превратили ДТ, — сказал Тат.

«Во что превратили все», — хотел сказать Собеседник, но сказал: «Да, журналистов мало».

«Как семья?» — внезапно спросил Тат. Собеседник ответил: «Как у большинства.

* «Помни о смерти» (лат.)

Развод». «Ясно, — сказал Тат. — А семья-то казалась идеальной». «Как и твоя, — хотел сказать Собеседник, — казалась». «А твоя?» — спросил он. «Равновесие, — ответил Тат. Умные люди воздерживаются от крайностей». «Умные люди бегут», — хотел сказать Собеседник. «Но то умные», — сказал он. «Я понял, — сказал Тат, — или карьера или развод. Живем. Моя довольна. Одеваю, как фазана, демонстрирую начальству. А начальство демонстрирует своих. Тоже хорошо одетых», — засмеялся Тат. «Честно и просто, — подумал Собеседник. — Как и раньше». Хотел сказать вслух, но сказал: «Проституция и порнография в Швеции или, например, во Франции. А сплошные разводы у нас». «У них тоже», — возразил Тат. «Но раза в четыре меньше», — заметил Собеседник.

Конечно, Собеседник старался сохранить семью. Дурак. Не находя достойного смысла в том, чем занимался в основном деле, Собеседник принялся искать некий смысл в семейной жизни. Большой глупости человек его склада сделать, пожалуй, не мог.

«Видит мир слишком в мрачном свете» (жена).

«А мир такой солнечный» (она же).

«Дурак, — сказал Тат. — Семья — это доверие». «Чье?» — спросил Собеседник. «Партии. Власти, — ответил Тат. — Семейному удается все. У собкоров за границей самые показательные семьи на свете. И ты знаешь почему. В их положении даже видимость семейной прочности — это реальные бабки. Но попробуй разведись! Миг — и загремишь на Родину».

«Знаю, Тат, вижу, — сказал Собеседник. — Можно повеситься». «Ничего, — возразил Тат, — я-то не вешаюсь. На моем уровне ведь те же самые требования. И та же участь. В случае чего». «Я бы повесился», — повторил Собеседник. «Отнеси сюда и ребят с зелеными паспортами», — подмигнул Тат.

«Всемирный галъюн».

Дверь с аляповатым стеклом распахнулась снова. В бар вошел Счастливый человек. Он порылся в карманах, достал мелочь и купил спички. Тат и Собеседник обрадовались абхазцу — пару дней назад они были у него в гостях. Рыбак угостил их тогда чудесным сухим вином собственного изготовления, показал розы, которые выращивает вместе с женой, и виноградную плантацию вокруг

дома. Позже, возвращаясь от абхазца, Тат объяснил Собеседнику кое-какие вещи. Этот человек, сказал Тат, занят такими простыми и незначительными делами, что может позволить себе быть честным до конца своих дней. И счастливым.

А мы, и такие, как мы, сказал Тат, заняты слишком серьезными делами. Мы втянуты в большую жизнь. В ней все иначе.

Собеседник отпил вина:

— Хочешь афоризм на двоих?

— Твой? — спросил Тат.

— Да. Только что: победитель думает о победе, а проигравший — о себе.

— На проигравшего ты не очень-то похож, — сказал Тат. — Сил в тебе на десяток.

— А веры — ни на одного.

— Опять ты за свое, — отмахнулся Тат.

— Нет, правда, Тат. Просто мы с тобой давно не говорили. Теперь меня здорово выручает способность видеть в человеке только худшее. А еще чаще — его будущий прах. Каким бы он бодряком при этом ни выглядел. Не хочу обижать тебя, Тат, но мы уже, кажется, разные.

- То есть? Ты — лучше?
- Лучше, — сказал Собеседник. — В наше время кто проиграл, тот и лучше.
- Тат сузил близко посаженные глаза:
- Летаешь по миру?
- Летаю.
- Чеками в «Березке» отовариваешься?
- Время от времени.
- Фамилию твою миллионными тиражами раскручивают?
- Раскручивают.
- И гнушишь?

Собеседник хотел сказать: я не только летаю по миру. Я думаю о нем. Было время, хотел сказать он, когда о делах в мире я думал больше, чем о своих собственных. Я увидел, хотел сказать он, как натужно и в раскоряку вершатся дела. Как бездарно и трагично проворачивается человеческая история. С каким скрежетом вращается ее тяжелое, опутанное электрическими цепями, обросшее грязью и мхом невежества, кровавым ракушечником городов колесо... Смешно сказать, но он, сильный, энергичный человек — безадресно и наивно желал отдать силы миру, который он ощущал, который хотел изменить и сделать хотя бы на одну судьбу лучше! «...Пусть придут ко мне твои усталые, нищие... Пусть придут

бездомные, разметанные бурей. Я поднимая факел у золотых ворот»*.

— Ох и накололись же мы все, Тат, — тяжело проговорил он. — Что в мире, что у себя дома.

— Тебя-то и в мир выпустили только для одного, — сказал Тат, — чтобы поменьше писал о своей стране. Знают, что злой.

— Но гоняют последнее время только по третьему миру. Добрее от чужих революций не станешь.

— Но мы-то на их стороне. Мы — с третьим миром.

— Мы — это кто? Ты? Политбюро?

— Политбюро, — убедительно улыбнулся Тат.

— Твоя и наша общая беда, Тат, в том, — сказал Собеседник, — что члены Политбюро живут своей жизнью, а мы — ихней. Тошно, Тат. Тошно.

В бар вошла Кит.

— Твоя, — расплываясь Тат. — Славная.

— Славная.

— Перед красотой я сам не свой, — признался Тат.

* Из надписи на статуе Свободы при входе в нью-йоркский морской порт.

— Опасно для твоего уровня, — буркнул Собеседник. — Вспоминаю партийную характеристику: «Морально устойчив, хотя физически здоров...»

— Красота женщины притягивает меня, как место трагедии, — начал излагать Тат.

— А меня — комедии. — Собеседник поднял руку: Кит!

Девушка взяла «пепси», фужер и подошла к ним.

— У вас тут, кажется, серьезно.

— Давно не грызлись, — сказал Тат. — Сразились.

— В отпуске — первое дело, — согласилась она.

Собеседник придвинул свободный стул, хотел сказать: «Никто в мире не тратит столько сил на грызню друг с другом кроме нас, русских», но сказал:

— Мы не сражались. Просто Тат предложил мне залечь и не мотаться по революционным фронтам. Хорошим это не кончится.

Тат удивленно приподнял брови, допил вино:

— Я пошел на море. Пока.

— Как дела, Кит? — спросил Собеседник.

— Обыкновенно, — сказала девушка. — Наплавалась.

— И, кажется, поджарилась, — он скосил глаза на ее голые, покрасневшие плечи. «Стихийный поиск случайных целей».

— Думала над вашими словами.

— Какими?

— Об опыте, помните?

— А как же, — сказал он. «Между людьми все преодолимо: разница в возрасте, разница в характере, во взглядах. И только разница в опыте — непреодолима. Бездна». Кажется, так.

— Помню, — повторил он. — Но я-то в чем не прав?

— Я сказала, что думала.

— Печально.

— Получила, кстати, ваше письмо. Оружейную записку. Что это значит?

— Я же написал: мой рассказ об Африке.

— Ясно, — она открыла портмоне. — Раз уж мы затеяли переписку, примите и от меня. Потом скажете.

Но он прочитал сразу:

*А пускаюсь ли в людях,
меня обманувших?
И пускаюсь ли в другие,
обманутым мной?*

...Обозначившись только,
стежок равнодушья
Белой ниткой пройдется
за сильной иглой.

Но

узлом закреплешоে,
тянет начало —
Разорешую высь
на гнетущую твердь —
Собирая в гармошку
миры
перевалов
Этой нитью, познавшей,
как можно стареть.

Черт, подумал он, не проронив ни слова. Талантливый человек только начинает жить, а уже заглядывает за пределы скитаний.

Девушка ушла.

Он подумал: внешний вид человека и его возможности — день и ночь одних и тех же суток. Родство без сходства.

Подумал: природа вкладывает в человека много такого, что оказывается потом лишним. Талант и ум — прежде всего. А в наши времена — времена катков — особенно.

16
ГЛАВА

На горизонте появился прогулочный катер. Катер несся так, словно его пассажиры опаздывали на дележ будущих удач. Солнечные лучи отражались от воды и плавились в собственном сиянии. Картина давно уже стала привычной.

Собеседник искал прохладу в море. Оно было горячим. Он искал прохладу на песке. Песок был огненным. Он лежал среди коряг. Дул ветер — горячий и порывистый. Собеседник старался думать о зиме... Его лыжи скользили идеально. Небо было синим и молодым, снег — сухим и пушистым, а воздух — бодрящим и бесцветным, как спирт. Там, где лыжня освещалась солнцем, лыжи скользили почти бесшумно. Когда лыжню пересекала синяя тень от сосны, лыжи скребли морозную корку снега. Тень хрустела, и звук замирал позади.

«Жизнь — это шум, замирающий позади».

На окраине долины темнела спокойная вода маленького озера. Над озером то и дело пролетали быстрые дикие утки. Вдоль лыжни, по которой он бежал, текла узкая мелкая речка. В ее чистой воде на самом дне покоились красные листья осени.

Где это было? Парк-сити, штат Юта. Кросс-кантри... Какая разница — где, когда? Позади.

Он перевернулся на спину — обуглился. Казалось, зной остановил все. Но вот раздался внезапный, тяжелый топот. Приподнял голову: по пляжу мчался Волк-санитар. Впереди, метрах в пяти от него, убегала новенькая: тонконогая, с огромной грудью, обрадованная.

Увидел Коробова. Скелет дымился рядом. Коробов смотрел в раскаленное небо.

...Через год после развода, когда холостяцкая жизнь Коробова утряслась на новом, теперь уже холостяцком плацдарме в коммуналке на юго-востоке Москвы, Собеседник, помнится, заехал к нему в гости. Радость Коробова была безмерной — он суетился вокруг Собеседника, подливал ему водки и без конца повторял: «Как я рад тебя видеть! У меня еще никого здесь не было. Что я могу для тебя сделать? Ну что?

Вот это я могу для тебя сделать, догадался Коробов с просветленным лицом, когда показалось дно второй бутылки. Он порывисто поднялся, подошел к птичьей клетке на подоконнике и резко распахнул — двумя руками одновременно — окно комнаты и дверцу клетки. Семь разноцветных австрийских попугайчиков с ликующим цвиньканьем мгновенно растворились в огромном солнечном мире. Вот, сказал счастливый Коробов. Это для тебя.

Они обнялись. Всплакнули. Освободители, дарующие волю живым существам.

Собеседник еще раз взглянул в сторону загорающего Коробова. Тот по-прежнему смотрел в небо.

Девушки на пляже не было. Не было ее и в ДТ. Он знал: вчера ей звонили из Москвы. А вечером — из Сухуми. Теперь она, значит, в Сухуми. А может, и дальше.

Наверняка у нее кто-то есть.

Он постарался отвлечься. Осечка. Однажды она сказала, что лишена возможности делать то, чего больше всего хотела бы. «А меньше всего?» — спросил он. «То, что я делаю», — ответила она.

К вечеру он почувствовал, каким долгим был этот чертов день.

17
ГЛАВА

Молодые небритые автолюбовники атаковали ее у входа в ДТ, и она, как это бывало уже не раз, пыталась пройти сквозь их плотный, энергичный зов. Белое платье делало девушку ослепительной и чужой. Собеседник испытал сильнейшее желание разминуться с ней. Но она увидела его тоже.

Устроились в дальнем углу открытого кафетерия ДТ.

— Я всю ночь провела в чужом доме.

— Поздравляю, — сказал Собеседник. — А с кем?

Она помолчала, затем сказала:

— С вами. Хотя и не вполне в этом уверена.

Он опустил чашку:

— Далеко отсюда?

Она кивнула в сторону гор.

— Можно и вернуться? Почти рядом.
А?

Быстрые, как жизнь, ласточки промелькнули над их головами. В глазах девушки появились слезы. Собеседник поднялся и объявил: «Беру сто чашек кофе».

— Мне одну, — тихо сказала девушка.

Начало ее рассказа выглядело неплохо. Он — Собеседник, или кто-то очень на него похожий, и она — Кит, оказались в чужом, каменном доме. Дом стоял высоко в горах, на самом краю большого ледника. Комната, в которой они якобы сидели, была просторной: два мягких кресла, инкрустированный столик, тонкий ковер на полу. Прямо перед ними пылал камин. В углу стоял деревянный резной подсвечник — узкая, вытянутая голова Мефистофеля. Как всегда, Собеседник и Кит говорили. Но на этот раз — только о веселом. Камин пылал, и они смеялись. Она как будто сказала: «Смеяться опасней, чем плакать». Он ведь и в самом деле чуть не задохнулся от смеха.

В камине горела чья-то одежда. Горели рубашки, шинели, фраки, юбки, бюстгальтеры, плащи, гимнастерки, галстуки, брюки, платья, кафтаны, тельняши-

ки, халаты, плавки, бушлаты, пиджаки, майки, джемперы, шорты, шляпы. Кто-то доставлял эту одежду сюда, в горы, в этот дом, кто-то невидимый и исполнительный подбрасывал одежду в камин вместо дров. И одежда горела.

Но их это как будто не касалось. В один из моментов девушка заговорила о своей тайне. Но он ее перебил и как будто сказал, что тайны юности и тайны старости отличаются одна от другой, как восход и заход солнца. Не больше.

В полночь он поднялся, подошел к девушке и крепко поцеловал. Она как будто не стала ломаться и тоже поднялась из кресла. Он обнял ее и поцеловал снова. Их поступками управляли смех и пламя. Как будто.

Он взял Мефистофеля и сунул головой в камин. Пламя зажгло свечу. В этом месте рассказа Собеседник невольно хмыкнул: это действительно похоже на него.

Позже, якобы лежа на ковре у решетки камина, он снова поцеловал ее. И сказал:

— Тебя, Кит, как будто подменили.

Она не ответила. Тогда он как будто проговорил: ты же сама жизнь. Но она

опять промолчала. Тогда он пояснил: жизнь, в ее ежесекундно ускользающих озарениях. Она окончательно затихла. «Нельзя быть такой бесчувственной!», — сказал он, наконец, правду. Но затем положил свою ладонь на ее маленькую левую грудь, легонько сжал и отпустил:

— Яблоко рая, — сказал он как будто.

Но ни смеха, ни пламени не вернул. Жили только ее глаза. Он встал, подошел к окну. Звездный свет струился над жестким холодным фирмом. Вершины скал уходили ввысь. Там они терялись, как смысл слов, сказанных только что в этом доме.

И как смысл слов человеческих вообще.

— С тобой поступили несправедливо, — сказал он, как будто прощаюсь. — Но виноватых нет.

Чашка кофе дымила, как маленький вулкан. Собеседник передвинул чашку по пластиковой поверхности стола и предложил:

— Выпей и успокойся. Преданный кофе не остывает.

Она отпила, рука подрагивала.

— Успокойся, Кит, — повторил он. —
Сон как сон.

И в третий раз: «Успокойся».

Вечером он перечитал строчки, оставленные девушкой на столе:

*...В воске
Обгоревшей луны облака,
Босх и
Та прижатая к лесу стена
В досках.*



18
ГЛАВА

В номере гинеколога Русского пили без тостов. Вино было терпким и легким. Его таскали из высокого белого холодильника. Бутылки передавала Аллочка. Рядом с Аллочкой накачивались Коробов и Скелет. Вместо салфеток среди пирамид из персиков и хурмы стояли два рулона китайской туалетной бумаги. Увидев рулоны, Собеседник вспомнил фразу одного своего закадычного друга и собутыльника, сказанную им как-то на кухне: «Китай — это дружеский шарж на СССР». В номер к гинекологу Собеседник пришел вместе с Татом. Увидев девушку, которую сюда же, по всей видимости, пригласил ее постоянный «легальный» сосед по пляжу зануда Ратмир, Собеседник сказал: «Привет, Кит».

Шум пьяной веселой толкучки, как главная примета ДТ, нарастал.

Ратмир трижды — старательно и искренне — спел под гитару «Поручика Голицына». Он настраивался на четвертый, но Скелет, побелевший, как кость, вырвал из его рук гитару. «Здесь не Курский вокзал, — заявил он, — а Дом творчества. И никто тебе не подаст! — выкрикнул он сильным, тонким голосом. — Не старайся!»

Адвокат не обиделся.

Отмечали поздний приезд нового отдыхающего — большого друга гинеколога. Кабак, которым тот руководил, гинеколог назвал лучшим на европейской территории СССР. Сначала к директору обращались по имени-отчеству. Через час его уже все звали Вовой. Это был веселый, пьющий, кристально необразованный человек.

Он участвовал во всех спорах, был бит, но не унимался.

В номере была молодая женщина, которую Собеседник заприметил в ДТ еще пару дней назад. Помнится, она у него тогда спросила: «Где здесь телефон-автомат?» Он взглянул на красивое нежное лицо, трогательную мальчишескую прическу и сказал: «Рядом с лифтом». «А где лифт?» — спросила она. «Смотрим нале-

во, — сказал Собеседник. — Рядом с автоматом».

Телефон терзала старушка из соседнего с Китом номера. На ее морщинистой, как у новорожденного, шее сверкал золотой кулон. Над телефоном на стене висело фото из календаря: красавица в бикини. Старушка терзала автомат так, словно пыталась связаться со своим прошлым.

— Вы — за ней, — засмеялся Собеседник. — А я — за вами.

Теперь молодая женщина была в номере Русского. У нее были потрясающие губы — она искренне целовалась с каждым, кто оказывался с нею рядом. Собеседник заметил это за те пару дней, что прошли после их первого знакомства у автомата. Но сейчас, рядом с нею, оказалась ее собственный припоздавший муж — директор ресторана Вова. Привычка целоваться, таким образом, терзала ее изнутри. Собеседник с удовольствием наблюдал за беспокойным красивым лицом.

— Как моя жена? — спросил у него неожиданно директор.

«О мужской интуиции, — мелькнуло у Собеседника, — забыли четыреста лет назад. Но, выходит, не все».

— Жена, как жена, — ответил он. — Но для жены слишком красива.

Вова рассмеялся и шумно похлопал жену по голой спине:

— Видишь, ты для жены слишком красивая. — Он поднялся, шагнул к туалету, сообщил: «Пойду отолью».

— Вова разошелся, — сказал Русский, — пора устраивать товарищеский суд Линча.

Хозяин номера был в общем-то симпатичным малым. Но Собеседник помнил слова Кита: жаль мужчин-гинекологов.

Сейчас Кит помалкивала. Собеседник тоже не проявлялся: цепляли — отвечал, не трогали — молчал.

Всеобщим вниманием завладел некромат из АПНа с дырой в голове.

— В Институте Склифосовского, — сказал он, — есть морг. В морге, как и везде в стране, — бардак. Этим и воспользовались.

— Кто? Кто воспользовался? — нетерпеливо закричала Аллочка.

— Кое-кто, — пояснил Вова.

Некромат, осудив вмешательство директора, продолжил:

— Два ученых отобрали четыре бесхозных трупа — есть там и такие — и поставили невиданный опыт.

— Какой? — прозрело сразу несколько голосов.

— Решили выяснить, — сказал некромат, — почему отмечают девятый и сороковой день после смерти человека.

— Ну и, — отвесил толстую, зеленую от кинзы губу Ратмир.

— Прикрепили к трупам датчики, — сказал некромат. — Стали проверять сигналы. Проверяли каждый день. Ни одного импульса.

— А откуда они у мертвых? — взвинченно спросила Аллочка.

— Слушайте дальше, — сказал гинеколог. — Имейте терпение.

— На девятый день... — сказал некромат и снова умолк.

— Короче! — засучил ногами директор ресторана.

— На девятый и на сороковой день, — сказал некромат, — импульсы появились.

Первым очнулся директор:

— Наливай, — крикнул он зычно, — это ж невозможно!

— Аллочка, вино! — закричал Ратмир.

Начался ажиотаж: эксперимент грандиозный, результат фантастический, АПН, конечно, уже распространил?

— Пресса — это сила, — сказал Вова.

— За нашу прессу, — поднял стакан Ратмир, кивнув Собеседнику и Тату. — За вас!

— *Vinitas vinitatum**, — сказал Скелет.

Выпив, он склонился к Коробову. Тот лежал у выхода на лоджию. «Пропускаю», — сказал он. Но тут же спохватился: «Давай».

Аллочка расплакалась. Черные ручейки туши потекли по ее желтым щекам. Волк-санитар оторвал от туалетного рулона клочок бумаги и старательно промокнул Аллочкины щечки.

В номере появился старый рыбак. Он держал огромный поднос. На подносе потрескивала огненная, только что поджаренная рыба. Пока аплодировали, Русский налил стакан вина и протянул абхазцу. Счастливый человек не торопясь, с достоинством выпил. Утер губы и вышел.

Собеседник и Кит переглянулись. Свет и искренность в серых глазах девушки могли означать все, что угодно. А скорее всего — ничего.

* Суeta суэт (лат.)

Так будет всегда, подумал он.

Ратмир сказал: для того чтобы общаться с выдающимися людьми, нужно быть выдающимся самому. Ему резко возразил Вова:

— Вовсе нет! — выкрикнул он. — Можно быть просто женщиной.

— Или править кабаком, — подбодрила мужа любительница целоваться.

— Мужчина, — донеслось до Собеседника пояснение гинеколога Русского, — это полная противоположность женщине. «А женщина, — хотел вмешаться Собеседник, — это живой мужчина». Но промолчал.

— О чем задумался? — спросил он у Тата.

— Ни о чем, — ответил Тат. — Хотя нет. Думаю: как ловко мы научились жить в отрыве от себе необходимого.

— В этом все дело, — сказал Собеседник. — Отсюда все и пошло.

— Пожалуй, — проговорил Тат. Жаль, что Тат все реже бывал прежним.

Среди всеобщего гвалта до Собеседника донеслись вполне разумные слова Вовы: «Это вам, непьющим, — толковал он со страстной убежденностью, — наплевать на свое здоровье. А нам,

пьющим, следить за здоровьем необходимо».

Никто не заметил, как в номере оказался пляжный фотограф. Он показывал золотые зубы и щелкал. Меня! Меня! Нас! Меня! — неслись со всех сторон заказы. Вспышки следовали одна за другой. Фотограф понимал: прозревев, никто не оставит ему на память свою пьяную рожу. Выкупит каждый.

Русский включил телек. Началась программа «Время». Собеседник выбрался из-за стола и вышел на лоджию. Солнце село, но штормовое море было еще светлым. Оглянувшись, он увидел, как шикарно выглядит их застолье через широкую стеклянную стену. Гости жестикулировали, смеялись, над живописным столом держался густой дым от табака. О чем они говорили, он не слышал. Но было видно, что говорили ни о чем.

Он никого не осуждал. Верно, они ему не нравились — некоторых из них он предпочел бы не встречать вообще. Но что из того? Он ведь тоже кому-то не нравился. В последние годы, например, он не нравился сам себе. Но свое предназначение — у каждого. Никто не виноват в том,

что живет. Сейчас, а не когда-то. Принцип обогрева метро человеческим теплом вполне соотносился в его сознании с общим жизнеустройством: какой бы поднок не спустился в сверкающее подземелье, его тепло служит общему делу — как и тепло гения, добряка или героя, оказавшегося в метро. Идея терпимости не терпела только высокомерия.

В номере Русского, под потолком, висела хрустальная чешская люстра. В люстре играли зеленые и красные огоньки. Зеленые напоминали искры фейерверка, а красные — капельки крови.

Внезапно до слуха Собеседника до несся прерывистый, сиплый голос. Голос друга шел из телека. Собеседник вернулся в комнату. Уставился на экран. Собкор ЦТ СССР («Привет, сапог!») стоял с микрофоном в руке у гусениц БМП. Ночное небо над Кабулом пыпало чудовищным заревом. Мимо неслись грузовики с солдатами и бэтээры. Переクリкивая грохот взрывов, друг кричал: «Ракета земля-земля попала в склад боеприпасов! Тысячи авиационных бомб и снарядов...»

Сюжет оборвался. Картина оглушила Собеседника. Почти месяц назад он

вернулся из последней командировки в Афган. Теперь он здесь. У него пересохло во рту.

— Вы там, кажется, недавно были? — услышал он голос жены директора ресторана.

— Был, — ответил он, не оборачиваясь.

Директор оживился и спросил:

— Душманов видел?

Собеседник промолчал.

— Видел или нет? — переспросил директор.

— Не надо, Вова, — сказал Русский.

— А мне интересно, — напирал директор.

— Нам тоже, — загадели остальные.

— Одно дело читать, — вклинился Ратмир, — а другое — слышать.

— Человек не хочет говорить, — пропретрзела жена директора. Кажется, она уже пожалела, что затронула эту тему.

Директор надгрыз грушу. Собеседник взял со стола банку с аджикой. Это не ускользнуло от внимания жены директора. Она резко шагнула к Собеседнику, прижалась к его груди. «Вы же умный человек, — прошептала она. — Плюньте». И прижалась еще сильней.

Директор поперхнулся и выкрикнул:

— Эй, а он здесь тебя случайно не трахал?

Публика замерла, а Собеседник от неожиданности рассмеялся. Он отстранил от себя жену директора, отбросил банку и, похлопав ладонью по собственному паху, спросил: «Это видел?»

И вышел.



100
ГЛАВА

Металлические рейки тельфера вздрагивали от ударов волн. Тяжелые брызги били ему в лицо, но ему нравилось. Поднималось тупое, тревожное раздражение. Его всегда вызывало только прошлое: женщина, брошенная в поисках лучшей, — что в его жизни, конечно, бывало; ситуация, при которой удавалось избежать худшего, но не удавалось избежать срыва; малодушие, проявленное по отношению к другу, — что, увы, тоже случалось с ним не раз. Да мало ли что еще — прошлое начинается в утробе матери.

Он грязно выругался. Кровавое зарево над Кабулом, лицо друга, загибающегося сейчас в посольском смраде после репортажа... Воспоминания бьют лежачего. Ночь, которая окружала его сейчас в Гульрипши, была, конечно, не из лучших. Но к нему вернулась дру-

гая — худшая. И худшая грубо смяла плохую.

Мрачное здание отеля «Кабул» было окружено в десять часов вечера. Толпы завывающих правоверных жаждали крови неверных. Отель обстреляли из промчавшегося джипа. Собеседник находился тогда в своем номере — сто семнадцатом. Телефонный шнур был вырван из гнезда, плафон под потолком едва держался, а дверь и стены были издолблены пулями. Несколько дней назад в номере был убит посол США в Кабуле Адольф Дабс. Здесь же, в этом номере, при попытке освободить посла, его охрана убила и трех террористов. Посол был захвачен ими на улице прямо в машине.

Почувствовав опасность, Собеседник поднялся на третий этаж, к коллегам из ТАСС, «Правды» и «Известий». Здесь же снимали номера дипломаты, врачи и пилоты из Союза. Все собрались в холле, у торшера с высокой, резной стойкой. Радио Кабула передавало экстренную информацию: в отелях «Джамиль», «Метрополь», «Пак» и «Кришталь» орудуют террористы. «Дорогие, благородные соотечественники!» — кричал диктор... «Ладно! — сказал кто-то военному перевод-

чику с фарси, — все ясно и так. Посмотри в окно».

Отель «Пак» уже пыпал как стог сена. На проезжей части улицы догорали перевернутые вверх колесами два автобуса «Чавдар» — дар братского болгарского народа революционному народу Афганистана. Свет пожаров падал на мрачные толпы мужчин в тюрбанах и широких патлюнах и на женщин в парандже, похожих на надгробия жертвам чумы.

— Аллах акбар! Аллах акбар! — зывала толпа. — Шурави марг, марг, марг!*

Отель оказался в кольце рабов исла-ма. Охрана сбежала. Густой дым с улицы проник через лестничные пролеты и полз по широким пустым коридорам. Запах гари стал плотным, как войлок.

А у них — одна граната на всех! Кто знал, что так обернется? Телефонную связь с посольством обрезали. Одна граната — верх беспечности.

Ни один атеист не ведает, что произойдет в следующую минуту в мире верующих. Ни один христианин не знает, что произойдет в следующий миг в мире

* Аллах велик, смерть советскому, смерть, смерть!

мусульман. Ни один верующий не хочет знать иного мира, кроме своего.

А у них — лишь одна граната.

Собеседник знал: фанатики ислама убивают медленно. Знал: вначале прорубают ножами предплечья. Потом отрежут уши, отрежут член, отрежут пальцы, прорубают глаза, разрежут ноздри. Но покоя не будет и мертвому — будут рассекать, отсекать, полосовать. Пока поруганной не окажется сама смерть неверного.

Они слушали близкие, истошные крики, вдыхали дым близких пожаров и молили судьбу о мгновенной смерти. Но где же ее взять? Одной гранатой мгновенной смертью всех не одарить.

Собеседник смотрел под ноги, на затертые узоры ковра. И не меньше, чем ножей в руках своих современников за стенами отеля, боялся позора. Его била тяжелая, крупная дрожь. Даже молчание давалось с трудом.

Из открытой двери одного из номеров доносились звуки фортепьяно: кто-то не выключил портативный приемник. Музыка превращала реальность в абсурд и защищала сознание.

Подумать только, мелькнуло у Собеседника, он боялся встречи с исламом. С

крайним исламским фанатизмом, вспомнил он газетный штамп. А ведь речь шла всего лишь о разновидности человеческой веры — не более.

Не более.

Не более.

Он отряхнул оцепенение, подошел к тяжелой темно-синей пыльной портьере: «Аллах акбар! Аллах акбар!»

Свой лучший шанс он, несомненно, упустил в «Бермудском треугольнике». В горящем «боинге». Каким бы прекрасным мог быть его удар! Он выжил там, чтобы умереть здесь. Да еще подобным образом.

Какая нелепость.

Какая несправедливость.

Какая закономерность.

Стрельба становилась все громче. Но кто стрелял? В какой-то момент — теперь и не вспомнить, возможно, в двенадцать ночи, Собеседник уловил вдруг знакомые звуки: умба-умба-умба-умба. Ни стрельба, ни вой не могли заглушить этот ритм: умба-умба-умба-умба. Барабаны?

Потом раздался топот ног. «Вот и все», — подумал он просто.

Но это были свои! Это были разъяренные, вооруженные до зубов десантники. Они бежали по широкому дымному кори-

дору, и молоденький кривоногий майор выкрикивал, как заводной: «Мятеж! Мятеж! Мятеж! Все — в бэтээры! В темпе!»

С тех пор Собеседник усвоил: если есть хоть одна минута — все впереди.

Его впихнули в третий бэтээр. Чей-то тяжелый ботинок упирался в левую щеку. Правая была прижата к ледяному тримплексу. Через его стекло он еще долго, одним глазом, видел ночную жизнь Кабула: освещенные пламенем пожаров толпы, глиняные дувалы, мечети и последнюю из них — Масджеде Махоммед Якуб-хан.

Остаток ночи он провел на холодном посольском столе под портретом генерального секретаря ЦК КПСС Л.Брежнева.

С тех пор прошло семь лет. А конца войны все не виделось.

Он поднял воротник штормовки. Семь лет! Хотя, как подойти. Может, и шестьсот двадцать. Может быть, между той ночью в Кабуле и этой ночью — здесь, под Сухуми, лежит и в самом деле шесть веков. Но он, вернувшись из мусульманского 1358-го, ничего, совершенно ничего при этом не испытывал. Он оказался безразличным к тому, на какие отрезки человеческие деяния четвертуют или в чем не повинное время.

«Только боль в жилах».

Время течет не вдаль, подобно реке, подумал он, время течет вертикально, снизу вверх. И поднимает со дна всю муть и всю грязь. И все зло. И несет из эпохи в эпоху. Так будет всегда, пока есть низ и пока есть верх.

Далекие тусклые зарницы над морем приблизились к берегу. Ветер усилился. Тельфер звенел от ударов волн. Пора сматываться. Он двинулся вдоль берега.

— Классик!

Собеседник вздрогнул, всмотрелся в темноту: только ветер и волны. «Классик!» — повторился близкий крик. Молния осветила фигуру и патлы Аллочки. Она сидела на занесенной песком бетонной опоре и походила на исчадие ночи.

— Иди сюда!

Он подошел. В правой руке Аллочки блеснула бутылка: «Хлебни!»

— Давай, — сказал он, — ты чего здесь?

— Гуляю, — засмеялась она. — Надоели все. А ты?

— Кое с кем встречался, — уклонился он.

— А где твоя красавица? — спросила Аллочка и забрала бутылку. — Утопил?

— Не моя, — сказал он. — Я тебе уже говорил.

— До сих пор не твоя? — отхлебнула Аллочка из бутылки. — А весь Дом знает, что твоя.

Он сказал:

— Оставь ее в покое.

Аллочка кивнула:

— Спишь с нею?

«Не сплю», — хотел признаться Собеседник, но резко повторил: «Оставь ее в покое».

— Ладно, — бросила Аллочка. — Твоя очередь.

Он взял бутылку.

— Хочешь сказать, что без женщины?

«Без женщины», — хотел сказать он, но промолчал.

— Вот лярва, — взболтнула бутылку Аллочка. — А на вид — с понятием.

— Я пошел.

— Нет! — Аллочка вцепилась в его рукав. — Молчу.

Она была пьяна. Пьянство явно примиряло каргу с ее собственной судьбой. «А меня, — подумал он, — с моей». И забрал бутылку. Отпил.

— Хочу курить, — закапризничала Аллочка, словно знающая себе цену кра-

савица. Он попытался зажечь спички — спички гасли.

— Как на палубе, — сказал он. — Блядский ветер.

— Это дождь, — засмеялась Аллочка.

— Брызги от волн, — возразил он. — Но будет дождь.

Молния взорвалась прямо над их головами.

«Нежность грозы и ужас лунного света, Кит», — мелькнуло у Собеседника. Он рассмеялся.

— Не боишься? — спросил он. — А то пошли.

— Она еще молодая, — сказала Аллочка, не обращая внимание на его слова. — Самое паскудное время для женщины.

— Почему? — не удержался он.

— Много надежд на сов-па-де-ние, — пьяно протянула она. — А Волк-санитар...

— Опять ты за свое, — оборвал он.

— Вспомнишь мои слова, — упрямо заявила Аллочка. — Волк — это судьба, а не волк.

Собеседник почувствовал ожог.

— Дай-ка мне пойло, — сказал он.

Штурм работал как вечный двигатель. Аллочка взмахнула руками, резко обхва-

тила Собеседника за шею, а затем внезапно и крепко прижалась к нему. «Мать-перемать», — только и успел пробормотать он.

Гром и молния грянули, как приказ сверху, и Аллочкина рука скользнула вниз, к молнии попроще. Он не ожидал такого напора. Но когда Аллочка потянулась к его лицу, пытаясь еще и поцеловаться, он с безграничной яростью прокричал: «Только без этого!»

Через несколько мгновений он освободился от слишком долгих и высоких наваждений.

«Ниже человека пасть нельзя».

Теперь, после того, что произошло, Аллочка стала вообще несносной. Она бурно смеялась, угрожала ночным волнам и распевала похабные частушки, пытаясь танцевать на скамье у входа в ДТ.

Он проклинал ночь, проклинал вино, природу и случай. Когда Аллочка запела: «У нескошенного луга...», он, изловчившись, зажал ее рот ладонью. Она оторвала руку и закричала во всю силу: «У нескошенного луга дятел трахает грача».

Он снова заткнул ее рот, но она грызанула его за палец. «В этом личная заслуга Леонида Ильича!» «А-а!» «А-а!»

«Добром не кончится», — протрезвел вдруг Собеседник. Проклятая ночь. Раздолбайская, проклятая ночь. Вой теплого ураганного ветра перешел в долгое, пронзительное завывание. Так голосила еще одна его давняя знакомая, скорая на дело ракетная невеста-вдова, с рылом свиньи и крыльями филина, что сама искала его над плоскими крышами Кабула.

* * *

Четыре часа утра. Душ — ледяной. Он стоял под его струями, как свая, и, смывая мыло, до изнеможения драл грехное тело сиреневой мочалкой.

Открыл холодильник. Налил стакан водки. Взял лимон. Дожал до последней капли. Быстро, без ощущения, выпил. «Хороший способ, — подумал он. — Но не верный».

За окном бушевала непогода. Белый свет пограничного прожектора привычно пробежал по дачам писателей, коснулся волн и угас.

Собеседник сел к столу. На столе лежали наброски его очерков для «Огонька», «Смены». Кретин, он надеялся в Доме твор-

чества поработать. Он всю жизнь на что-то надеялся. А надежды, вместо того чтобы обманывать, как им и положено, сбывались. Надежды сбывались, и он надеялся снова. Чем чаще они сбывались, тем мельче становились. И сбывались все чаще.

Подвох он понял, но было уже поздно.

Он смахнул заготовки. Вместе с ними на пол улетело письмо Леща — «Привет, Сапог!» Письмо он поднял. Перечитал. В голову пришла неожиданная мысль.

Он взял чистый лист бумаги, ручку и, ни в чем не сомневаясь, написал: «Уважаемый Александр Борисович! Вы, как главный редактор, вряд ли знаете, что я нахожусь на юге, в ДТ, в отпуске. У Вас много других забот. Но мой отпуск подходит к концу. Сегодня я принял решение и в интересах дела сообщаю Вам о нем заранее. Однако прежде чем это сделать, я бы хотел рассказать Вам совсем небольшую историю. Уверен: ни один из нас, ваших сотрудников, которыми Вы так гордитесь и пропагандируете в ЦК — ничего подобного Вам еще не рассказывал. Думаю, никогда и не расскажет — жизнь всегда короче правды. Речь идет об одном из моих обычных героических ре-

портажей. Точнее, моем последнем репортаже из Кабула «Солдаты гор». Я сочинял его ночью, после возвращения из Суруби, на вилле моего друга — корреспондента ЦТ СССР Михаила Лещинского. Комната, в которой я писал, располагалась на первом этаже. Друг спал на втором — заряженный автомат на молитвенном коврике у кровати, пистолет под подушкой — личная, так сказать, линия обороны.

Два взрыва прозвучали одновременно. «Земля-земля». Следующая пара ракет легла поближе: зазвенели стекла, завыли собаки. Ракетный обстрел, как всегда, спровоцировал автоматные очереди. Стрельба велась бессистемно. Били из-за далеких и близких дувалов. Я старался сосредоточиться на тексте. Но сильный автоматный огонь ломал даже привычные революционные фразы, которые Вам так нравятся и которые я, как и все мы, не меняю уже много лет афганской войны. Да и других освободительных войн, куда газета меня направляет. Я отложил авторучку и поднялся из-за стола. Неплотные шторы не скрывали света. Я понял: все это время был хорошей мишенью для «духов». Я щелкнул выключателем — лучшая безопасность. Но в темноте ни-

чего не напишешь. И я снова включил свет. Опять — возможно по совпадению — почти рядом с виллой затрещали автоматы. Я подумал: как это меня еще не прикончили? И представьте себе, снова выключил свет.

Стрельба не прекращалась. Я сгреб со стола бумаги, блокнот и двинулся прямиком в туалет. В туалете я включил безопасный свет, запер дверь и устроился на толчке. Я положил блокнот на колени, лист бумаги — на блокнот и продолжил прерванную фразу. Автоматные очереди стучали как и прежде. Но теперь их звук был тих и глух, как будто на жизнь набросили ватник десантника.

Если разрывались эрэсы, дверь туалета подрагивала. Я не переживал — продолжал писать. Свет был ярким, писалось легко и быстро. Правда, немного затекала спина. Но зато в тебя никто не целился. И ты ничем не рисковал. Листы испанной бумаги я складывал у правой ступни. Иногда перечитывал ту или иную страницу. Писал дальше. Стопка исписанных листов росла.

Стрельба давно прекратилась. Тишину разорвал пронзительный крик муздзина — он кричал за стеной соседней вил-

лы, призывая правоверных к первой молитве. Значит, было пять часов утра. И дело было сделано — репортаж написан. Я отсалютовал — трижды спустил в бачке воду и покинул гальюн. Объяснить толком, зачем я Вам это рассказал, я, пожалуй, не смогу. Но зато мне стало намного легче: я давно уже хотел написать Вам хотя бы одну страничку чистой правды — народно-освободительные войны — это чистый ад, а революции в Африке или в Азии — это кровавая вакханалия. Каждой из революционных смертей на всех континентах, где я уже побывал, присвоено имя нашей с Вами страны — Советского Союза: советская смерть.

Теперь — о решении. Через семь дней я готов снова лететь в Кабул. Замену не ищите».

Он не стал перечитывать письмо: сложил вчетверо и сунул в конверт. Запечатав, вышел на лоджию. Бесконечная ночь все еще не кончалась. Тьму снова прорезал луч пограничного сухумского прожектора. Луч пробежал по дачам писателей, по строениям с мокрыми цинковыми крышами, по столбам и растерзанным ветром деревьям, коснулся воли и угас.

«Многое увидели, ребята?»

УМБА
ГЕННАДИЙ БОЧАРОВ

200
ГЛАВА

Утро было чистым, как в час Сотворения. Голова раскалывалась. Жизнь выглядела хуже плена. Завтракать он не пошел. Вспомнил о запасе колумбийского любимого кофе. Не нашел. Приготовил отечественный. Получился колумбический.

В дверь постучали. Он испытал панику. Два человека могли доконать его окончательно: Аллочка и Кит.

В комнату вошла Кит. Ее глаза сияли так, словно смотрели не на руины от человека, а на близкое сражение на серебряных мечах.

— Где это вы были? — спросила она звонко и требовательно. — Я приходила к вам после пирожки в три часа ночи.

Он, кажется, застонал.

— Мне не терпелось вам показать...

Он взял протянутый ею листок. Она заметно волновалась. «Выпей кофе», — предложил он. Прочитал:

*Когда природа в вас
Не замечательна:
Как все мечтатели,
На адском катере,
До озарения —
Вы лишь спасатели
Всего того, что не утратили.
Что, став природой,
К лодке бросится,
Как память — та, что в руки
Просится,
Как время — то, что в ласке
Ветреной
Не сизошло до вас
Ответами.*

— Оставь у меня, — сказал он глухо.
— Я... — начала она.
— Оставь у меня, — повторил он.

Она отставила чашку и ушла. Он перечитал. Написал на листике под стихом ее фамилию, нашел другие стихи, подколол к листку. Не торопясь, вскрыл ночной конверт. Достал письмо главному редактору. Взял новый конверт. Вложил в него листки со стихами, затем, поколебавшись — свое письмо. И заклеив, написал прежний адрес.

В тот же день «общее» письмо ушло в Москву с достойной оказией — на борту «черного тюльпана».

21

ГЛАВА

Плыть по чистой, прозрачной воде было легко и приятно. Хорошие минуты, подумал он. Последний день отпуска. Быть одному. Быть одному. Быть одному.

Он сгруппировался и поплыл кролем. Один.

По-видимому, для каждого наступает время, когда привычное небо становится небесами, стремительное время — временами, а суетная жизнь — бытием.

Неожиданно и навязчиво, как мелодия гимна, пред его взором вдруг возник образ девушки. И мысль: даже самый сильный ветер, дующий со всех сторон одновременно, не в состоянии заставить полезно трудиться ни парус, ни пропеллер, ни сердце.

Доплыv до буйка, он повернулся к берегу. Вдали, как и в первый день отпуска, как и всегда, поднимались снежные вер-

шины Кавказа. На их склонах росли буковые леса. Леса нагревались после прохладной ночи, и над ними стояли высокие белые облака.

Море дразнило яркими красками. Над волнами трепетала крошечная белая бабочка. В какое-то мгновение море стало одноцветным: его радужные краски забрали крылья бабочки. И бабочка превратилась в живую крошечную радугу.

«Наивный вампир».

Силы, похожие больше на фантомные боли, раскачивали его изнутри и кружили по бессмысленной вселенной, в которой он жил.

Внезапно до его слуха донеслись странные, веющие звуки. Так могли кричать только птицы. Но таких птиц он как будто не видел. Прислушался — крики доносились со стороны абхазских домов с табачными плантациями.

Крики повторились. Полуденный пляж был почти пуст: одинокий фотограф в экзотический шляпе, да кружок международников под полосатым зонтом.

Собеседник посмотрел вдоль берега, правее, за тельфер. По дороге между морем и дворами двигалась похоронная процессия. Позади катафалка, почти

вплотную, шли женщины в черном. Чуть поодаль, метрах в трех от них, вперемежку, шли мужчины и женщины. Они держали друг друга под руки.

Женщины в черном кричали и причитали, это были пережившие века плачальщицы. Они кричали — птицы, птицы, несчастные птицы, — а родственники умершего постигали непритьорство смерти молча. Впереди катафалка шел небольшой духовой оркестр. Но музыканты еще не играли.

Собеседник вышел из воды и остановился у тельфера. Процессия приближалась. Грязнул оркестр. Процессия поравнялась с Домом творчества. Траурные звуки тут же призвали всех его обитателей: ни одной пустой лоджии. Аллочку Собеседник, само собой, увидел первой: она застыла в шустро-напряженном порыве. Директор ресторана с женой уставились вниз с большим подозрением. При параде — готовился к обеду — застыл на лоджии Тат. Выполз Коробов — правда, с помощью Скелета. Скелет поддерживал боевого друга под руки. На их же лоджии оказался и совершенно распухший от водки некромат из АПН. Появилось яркое кимоно шлюхи из полулюкса. Ги-

неколог Русский выскочил в неглиже — так и стоял. От второго до шестого этажа лоджии были заняты публикой. Из-под полосатого зонта выползли международники. Они наблюдали за движением процессии молча и скорбно.

Собеседник всмотрелся в лицо покойного — в гробу, среди свежих подрагивающих от движения роз лежал старый рыбак.

«Последний Счастливый человек».

Но ведь только три дня назад...

Три дня назад.

Назад.

Собеседник отвел глаза.

В тени левого крыла ДТ, у теннисного стола, он внезапно увидел девушку. Рядом с ней — Ратмира и незнакомого со спины человека. Ни девушка, ни ее спутники еще не видели процессии и не слышали оркестра: они смеялись и жестикулировали руками. Незнакомец вертел мульяж спасательного круга — наверное, снял со щита. Когда он повернулся, Собеседник узнал в нем Волка-санитара. «Какое счастье — все кончилось», — испытал он неуместное, подсознательное облегчение.

Труба выводила узкую, пронзительную мелодию. Застучал барабан. Собеседник

седник переступил с ноги на ногу. Никто из процессии не обращал внимания на мокрого, полуголого человека у дороги. Процессия миновала пляж. Стучал, затихая, барабан. Но отзывались другие:

Умба-умба-умба, как когда-то в Африке.

Умба-умба-умба, как когда-то во Вьетнаме.

Умба-умба-умба, как когда-то в Ласе.

Умба-умба-умба, как когда-то в Афганистане.

Умба-умба-умба, как когда-то в час рождения.

«Надеюсь, я не умру, — подумал он. — Надеюсь, мне повезет и я погибну».

Стихи Натальи Веселовской



Содержание

Умба — знак пророчества	3
Глава 1	5
Глава 2	14
Глава 3	17
Глава 4	20
Глава 5	24
Глава 6	28
Глава 7	32
Глава 8	39
Глава 9	42
Глава 10	50
Глава 11	55
Глава 12	60
Глава 13	69
Глава 14	73
Глава 15	84
Глава 16	102
Глава 17	105
Глава 18	110
Глава 19	121
Глава 20	136
Глава 21	138

Геннадий Бочаров

УМБА

Художественное оформление *С. Богачева*

Оригинал-макет подготовлен компьютерным
центром ГЖО «Воскресенье»
Руководитель *Сергей Кабанов*

Верстка: *Людмила Радченко*

Лицензия ИД № 00885 от 31.01.2000.
Налоговая льгота — общероссийский
классификатор
продукции ОК — 005 —93: 953000 — книги,
брошюры.

Сдано в набор 12.11.2001,
подписано в печать 05.12.2001.
Формат 70x90 1/12. Печать офсетная. Объем 4,5 п.л.
Тираж 1000. Заказ № 1472

ВОСКРЕСЕНЬЕ™ — зарегистрированная
торговая марка ООО ИИА «Евразия+»

125993, Москва, ГСП-3, ул. «Правды», 24.
Тел.: (095) 257-33-15
Факс: (095) 257-39-46

Отпечатано в ОАО «Московская типография № 9»
109033, Москва, Волочаевская ул., д. 40
Телефон (095) 362-89-59



2007115188



Геннадий Бочаров — автор многих документальных книг, изданных в разное время общим тиражом полтора миллиона экземпляров. Большинство его работ переведены на основные языки мира.

Книга Бочарова «Русская рулетка» стала подлинным мировым бестселлером — ее издали крупнейшие издательства Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Берлина, Стокгольма, Люксембурга и др. Тема большинства книг Г. Бочарова — человек преодолевающий. Повесть «Умба» — редкое исключение.

С 1967 года Геннадий Бочаров — специальный корреспондент и обозреватель «Комсомольской правды», затем — «Литературной газеты» и, наконец, «Известий». В качестве специального корреспондента он побывал более чем в 50 государствах мира, в том числе во всех его горячих точках. В советское время был удостоен высших профессиональных наград: премии Союза журналистов СССР, премии им. Михаила Кольцова, премии им. Владимира Гиляровского, премии Ленинского комсомола, почетных знаков им. Ю. Гагарина, академика С. Королева и т.д. Награжден орденами и медалями СССР, включая боевой орден «Красной звезды».

Геннадий Бочаров член Союза писателей Москвы.

—
Бочаров